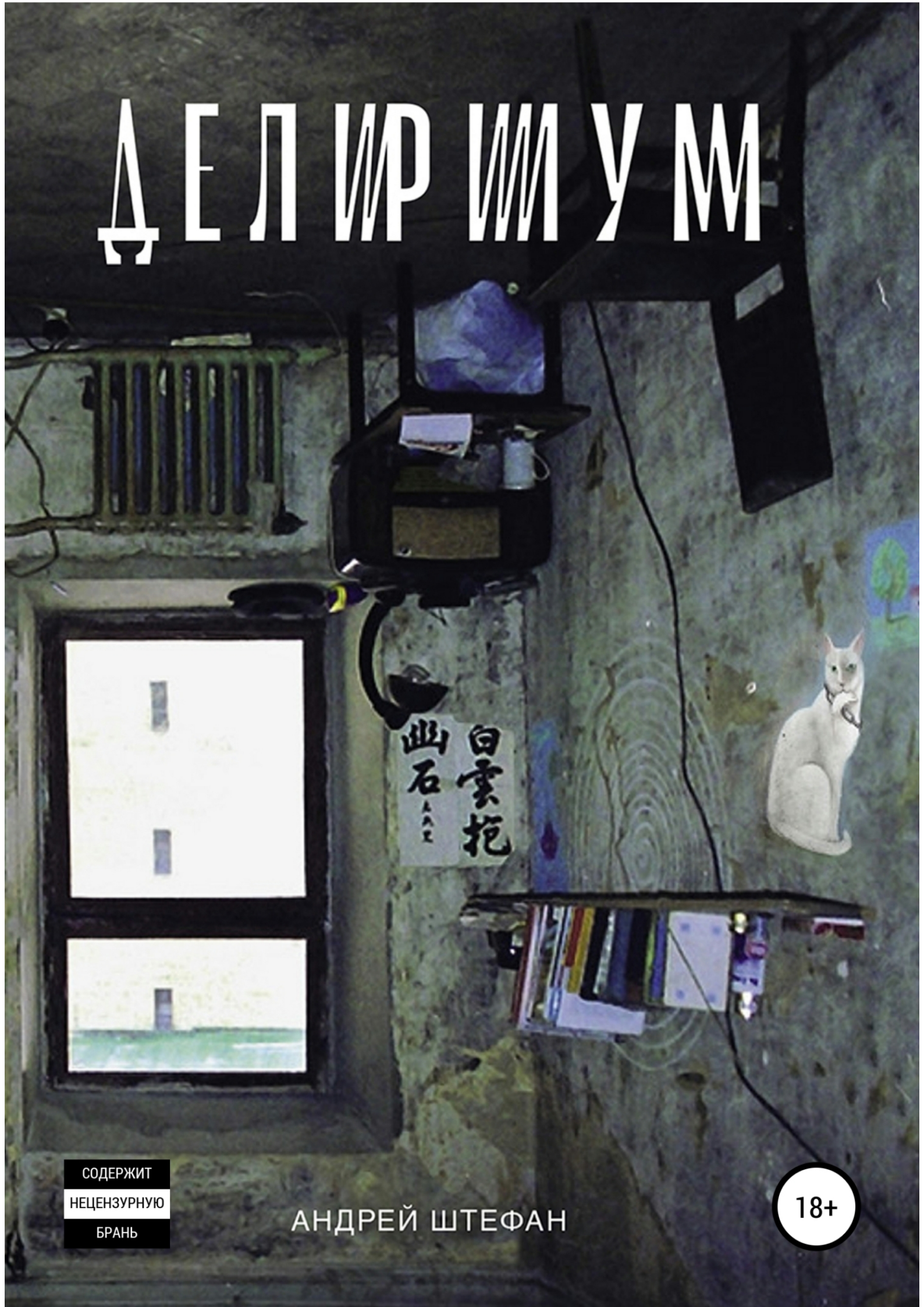


ДЕЛИРИУМ



幽石
白雲抱

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

АНДРЕЙ ШТЕФАН

18+

Андрей Ягубский (Штефан)

Делириум

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Ягубский (Штефан) А. Э.

Делириум / А. Э. Ягубский (Штефан) — «ЛитРес: Самиздат»,
2020

В первой части книги главный герой – художник Андрей Штефан, отслуживший три года на советской атомной подводной лодке, возвращается в Москву. Привычный мир рухнул – наступили 90-е, СССР сменился диким капитализмом. Первое время в столице он живет на лавочке и работает мойщиком троллейбусов, кочегаром, трактористом и сторожем. Потом главный герой попадает в коммуны художников, в выселенный дом, где до революции жил дядя Булгакова. Постепенно становится ясно, что весь центр Москвы превратился в огромную творческую коммуналку. Зимой они живут в столице, летом на даче, в диких лесах Псковской области. Рухнул железный занавес – художники открывают для себя еще недавно запретный мир капиталистического запада. Они покоряют вершины Кавказа и рестораны Прибалтики. Вторая часть – это три интервью с художниками, жившими тоже в творческих коммунах 90-х. Это реальные персонажи – Константин Звездочетов, Владимир Дубосарский, Александр Петрелли и Игорь Бурый. Содержит нецензурную брань.

© Ягубский (Штефан) А. Э., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

Андрей Ягубский (Штефан) Делириум

Принято считать, что основным прообразом жилища профессора Преображенского послужил доходный дом 24/1 на углу Пречистенки и Обухова переулка, построенный по проекту архитектора С. Ф. Кулагина в 1904 году на участке, принадлежавшем Е. С. Павловской. Дом представляет собой пятиэтажное массивное строение с облицовкой рустом по первому этажу. По фасаду, обращённому в Обухов (с 1922 года – Чистый переулок), расположены два высоких окна, объединяющие второй и третий этажи. Несколько окон по фасаду на Пречистенке украшены портиками и полуколоннами. В начале XX века в этом доме жили два дяди Булгакова по матери – врачи Николай Михайлович и Михаил Михайлович Покровские. Первый из них стал основным прототипом Ф. Ф. Преображенского. В московских адресно-справочных книгах дореволюционных и первых послереволюционных лет один и тот же адрес братьев значится по-разному: «Покровский Н. М. – женские болезни – Обухов переулок, 1, квартира 12» и «Покровский М. М. – венерические болезни». Указывая, что описание квартиры профессора Преображенского в деталях совпадает с квартирой Покровского, Б. В. Соколов делает наблюдение, что «в адресе прототипа названия улиц связаны с христианской традицией, а его фамилия (в честь праздника Покрова) соответствует фамилии персонажа, связанной с праздником Преображения господня. Московский краевед и булгаковед Б. С. Мягков указывает, что квартира Покровского изначально насчитывала пять комнат, однако после приезда племянниц в 1920 году одна из больших комнат была перегороджена, в результате комнат образовалось шесть. Племянницы Покровского – Александра Андреевна и Оксана Митрофановна – жили в этой квартире до конца 1970-х годов.

Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно?

В этом же доме родился советский физик, основоположник динамической физики высоких давлений Лев Владимирович Альтшулер. В своих воспоминаниях он записал: «В 1910 году мой дедушка-аптекарь снял для своего сына у домовладельца Кулагина квартиру на четвертом этаже дома 24, что на углу улицы Пречистенки и Обухова переулка, рядом с пожарной частью. Мы жили в третьем подъезде, а дядя Булгакова, ставший прототипом профессора Преображенского, – во втором. Я родился в ноябре 1913 года в этом доме».

I. НАШ ДОМ

1. Чистый переулок, дом 24. Как я оказался в коммуне художников. Ваня Калмык – астраханский святой. Хлодвиг – художник ладоней. Ависалом Михалыч и тонетовский стул. Мои соседи – Шульц, Лексус Черкасов и Воня Барас. Туалетный круг Эда Гималайского. Манчо Злыднев и гнездо русской мафии.

Эд Гималайский.

*читай примечания в конце главы

1. Чистый переулок, дом 24.

Метаморфоз* Брежнева полностью совпал с моим появлением на свет. Так и жил я, как счастливая гусеница в янтаре, среди залитых солнечным светом лесных опушек наукограда* Черноголовки, наслаждаясь нектаром застоя. Вдруг вселенная схлопнулась: вечные боги с невероятной скоростью стали клеить лапы. А меня неожиданно из рая выгнали в подводный тартар, забрили на подводную лодку, набитую ядерными ракетами.

Через три года я вернулся из пучины совершенно диким приматом. Мои родители-физики на меня посмотрели и сразу заправили меня в геологическую партию в горы Тянь-

Шаня. Мне требовалась после военно-морского дурдома срочная реабилитация, а то я мог и вилку кому-нибудь в глаз воткнуть.

После гор я благополучно восстановился в Менделеевском институте, где, обалдевший, ходил, лбом втыкался в переборки*, забывая задраить люк и продуть кингстоны*. Впрочем, никто уже не орал: «Срочное погружение»*, «Гидроакустический горизонт чист»* или «Слушать в отсеках»*. Я медленно, как песочные часы, возвращался в реальность. Оживал не только мой внутренний мир, моя внешность возвращалась в комфортное детское состояние. То есть волосы вытягивались и превращались в качественный хаер и бороду, на коленях появились благородные дыры, рубашка покрывалась цветными пятнами художественного масла, кроссовки лопнули посередине и благородно на этом зависли, на голову опустилась зелёная панاما из крепдешина, лицо просияло новыми надеждами и мечтами. Акустический горизонт медленно, но верно растворялся в несвежей воде осенней Яузы. Ученым-химиком я, конечно, не стал. Год я жил на лавочках и в старых троллейбусах. Но вскоре, вращая скрипучий барабан судьбы, я оказался в коммуне художников в Чистом переулке. Институт бросил и снова ушёл на дно океана, теперь планеты неспектральных цветов.

Про жильцов сквота в Чистом переулке. Все они были, а некоторые и есть, великие герои вселенной, последние берсерки потаённой опушки! Наш подъезд полностью подпадал под питерское определение – парадная. До революции здесь стояли лакеи в ливреях, висели хрустальные люстры, пылились персидские ковры, помеченные бриллиантами. Кого попало, я думаю, сюда не пускали – ходили дамы в мехах и холёные господа.

В наше время всё переменялось: кручёные перила были покрашены мерзкой коричневой краской, а стены – голубой, с примесью грязной желчи. Но, несомненно, ауру величия наша парадная сохранила, как сохраняет древняя старушка голубых кровей, работающая машинисткой в провинциальном НИИ, харизму Смольного института. Наш подъезд радостно распахивал двери для поклонников Бахуса*. Они часто валялись в парадной прямо на лестнице, а мы через них аккуратненько перешагивали и весело тащились наверх, следуя крутящемуся ритму лестницы.

На последнем этаже была огромная дубовая дверь, за ней сидели мы. Дверь была метра четыре в высоту, так что при желании к нам в квартиру можно было впихнуть Троянского коня. Этот античный подвиг я таки совершил одной из мрачных зимних ночей, но об этом позже...

Прихожая. Я не помню, там вообще не было света или свет для этого места был неосязаем. Есть такие места во вселенной: как их не свети, все пожирает темная материя*. При входе слева стоял разбитый, как тележка бомжа на вокзале, ссанный диван. На нем жил Ваня Калмык. Калмык был эталоном хиппи. И он единственный таковым себя и считал. Выглядел он как персонаж из фильма «Беспечный ездох». То есть лицо Иисуса, русский хаер до пояса, рыжая борода до пояса, джинсы, вышитые цветами, и фенечки. На лице Вани всегда мерцала несмысливаемая ничем виноватая улыбка. В квартиру мы старались его не пускать. У Вани в голове жили мустанги*!

Он был нашей знаменитостью. Калмык боролся с «идолищами погаными» в далекой Астрахани. Делал он это так... Брал бочку с алой краской, подходил к застывшему в камне коммунистическому идолу и окатывал его из бочки красной эмалью. В одну ненастную ночь нашего запоздалого диссидента сцапали менты и посадили в тюрьму.

Но на свободе осталась крепкая астраханская ячейка революционеров. Соратники по борьбе отправили в США телеграмму: «Посадили-де святого, Мать Терезу* Каспийского озера – Ваню Калмыка!». И пошла, и поехала по всему видимому и невидимому миру, хотя всемирной сети еще не было, слава...

Дом Калмыка в Астрахани подвергся нападению почтальонов, мешки писем и срочных телеграмм со всего света не влезали в хату: писали дети из африканской резервации, писали

пенсионеры из австралийского дома престарелых, писали психи из гамбургской больницы, писали ламы из пещеры, писали индейцы и ковбои, папуасы и джентльмены, рикши и гейши.

Но скоро началась перестройка, и власти простили святого, то есть амнистировали, но в камере заключённого не оказалось. Ваня триумфа не дождался, сбежал из тюрьмы через систему канализации.

Из Астрахани он привёз сенсимилью*, баул с империалистическими открытками, нарисовался* у нас в Чистом переулке. Мы давай трескать эту дурь с утра до вечера, курить ее было бессмысленно, но каша и молочище* из неё получались зверские – чердак уезжал капитально. Спустя неделю мы могли только мычать и ползать по квартире, натываясь на стены, а Ваня прижился у нас на ссаном диване. На открытки отвечать у нас быстро иссякла фантазия, но долгие годы наши гости писали от лица Калмыка паскудные письма адресатам.

Итак: Калмык спал на колченогом диване, на него все время мочились наши многочисленные кошки. Кошки регулярно выпадали из окна – Ротор, Люся, Альбин и много, много детей и внуков этих трёх родоначальников. Люся после очередного падения с четвёртого этажа стала рожать исключительно белых кроликов.

В прихожей был древний телефон, сделанный из бакелита*, и колченогая вешалка 70-х годов, сдёрнутая откуда-то из учреждения. Над диваном нависала массивная полка, забитая всяким хламом. С неё свисали драные собаками шубы, солдатские гимнастёрки и засаленные до неприличия валенки. Налево от входа была крошечная каморка с синими, почти черными стенами и утлым окошечком. Направо – кухня, сортир, ванная и чёрный ход с кладовкой.

В синей комнате жила, а вернее умирала, бабушка нашего благодетеля. Там стояла её кровать, снабжённая примитивными медицинскими аппаратами и какая-то убогая мебель. Я там редко бывал. За бабушкой мы ухаживали всей коммуной по мере сил. Потом бабушка умерла. В её комнату въехал Хлодвиг.

Он всё выкинул и спал на полу, на рогожке. Использовал бабушкину комнату он как мастерскую, постепенно захватывая всю квартиру. Хозяин к нему благоволил, даже трепетал.

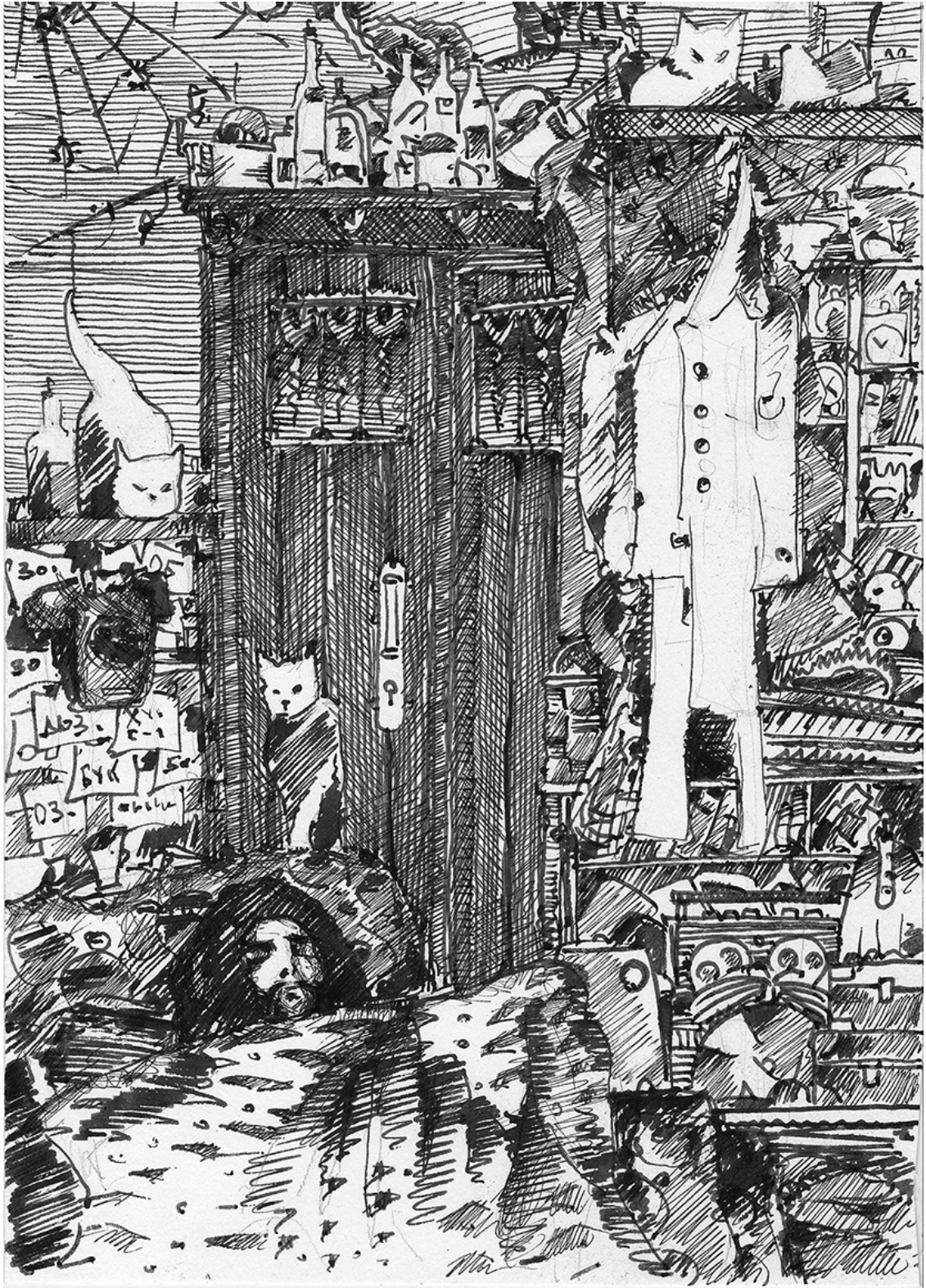
Хлодвиг был великаном: в чёрном, в генеральских сапогах – брил виски, отращивал сизую чёлку. Казалось, он вот-вот закричит: «Nobiscum Deus!»*.

От него веяло Ницше и Вагнером, подступиться к нему было непросто, а уж панибратски хлопнуть по плечу просто невозможно. Однажды он отвлёкся от постмодернизма, сел у окна и написал простой пейзаж с книжками и рамой. Это был истинный шедевр. То есть Хлодвиг был гением: он мог и так и так...

Это меня купило. Но обычно он печатал руками на огромном белом холсте фотографию римских Цезарей или мастерил из стеарина копии своих пальцев. А однажды он вздумал сделать свою посмертную маску. Он засунул себе бумажные трубки в рот и в ноздри, затем залил всю рожу гипсом. Отрывали гипс от его лица всем миром, вместе с ресницами и бровями...

Кухня была похожа на взорвавшийся мусоропровод. Нельзя сказать, чтобы мы жили в клоаке постоянно, иногда случались неистовые большие уборки, но это происходило не чаще чем раз в полгода на Пасху или Рождество. А так слои разгульной жизни оседали иррационально, доводя наше жизненное пространство до полного абсурда, до термитника. Как-то я обнаружил в кладовке кастрюльку, наполненную жирными червями...

На кухне пересекались все трассы жизнедеятельности жильцов и бесчисленных гостей. В комнаты мы никого не пускали, мы держали оборону, но на кухне вечно толпился разный сброд. Толпы иностранных туристов, подвальные философы, художники-извращенцы, поэты дырявого ведра прибывали с Арбата и Сретенки.



Но если абстрагироваться от сталагмитов и сталактитов человеческой деятельности, кухня было ого-го-го...!

Светлая, обласканная окнами: посередине стоял круглый лакированный стол семидесятых годов. Стол окружала коллекция стульев. Там были похожие на бульдогов, антикварные в стиле павловского барокко, «лошадь» или «наездник» – гимнастический английский стул,

кривляющиеся гнутыми ногами стулья Тонета*. Тонетовские стулья всегда хотел подрезать Ависалом Михалыч. Михалыч часто заходил на Чистый. Мы гордились таким знакомством.

Дело в том, что Михалыч был простым российским негром. У него даже в паспорте было написано – русский, несмотря на то, что папа у него был масаи. Он служил в десанте. Его выкидывали с самолета на Среднерусской возвышенности, к ужасу местных старообрядцев. Михалыч был загадочный, он, как разведчик, никогда не рассказывал о своих делишках. Одна страсть была у нашего русского негра – это тонетовские стулья.

Из угла кухни на посетителей пялилась одноглазая пузатая колонка, из неё торчала чёрная с разводами серы труба. Периметр опоясывал эшелон кухонных шкафов семидесятих годов, покрашенных в белый цвет, с боевыми пробоинами и сломанными дверцами. Из чрева торчал позорный набор алюминиевой посуды и пивных сисек*. Закопчённый потолок с ломотьями лепнины, с чёрными пятнами спичечных вулканов*, с колониями пауков терялся во мраке алкогольных паров. Всё это пространство, поюзанное ржавчиной, треснутое белой плиткой, с присохшей навеки пищей, нежно плавилось в фокусе интерференции дешёвого стекла. Пол был покрыт волнами липкого линолеума. Кроме входа было ещё две двери: одна вела в кладовку, другая – на чёрный ход и крышу. В кладовке валялся разный хлам: начиная от шарманки папы Карло и татарского пловного котла с остатками сгнившей баранины и кончая черепом касатки и почему-то бутафорской царской короной. Наш математик Манчо, когда напивался в хлам, всё время перелезал по внешней уличной стене из кладовки на кухню, а в хлам он был каждый вечер.

Справа была узкая дверь чёрного хода. Был выход на крышу, где мы роскошно загорали на солнце, жарили шашлыки с портвейном и водочкой. Иногда с риском для жизни по крыше нас гоняли здоровенные менты.

Внизу был узкий коридор с глухими, замурованными кирпичом после революции окнами. Там мы хранили негабаритный хлам и всякую помойку, а также держали буйных гостей.

Между кухней и прихожей были: направо – сортир, налево – ванная комната. Сортир напоминал пенал, перевернутый на попа. Пол украшали шашечки краснокожей плитки, типа общественный сортир. Стены были инкрустированы белым классическим кафелем с паутиной узоров, оставленных печатками времени. Обожравшись облаток*, можно было на этой древней плитке найти глубокий философский сюжет для своей картины. Из еле читаемых трещин, нежных голубых и охристых лессировок* лезли женские головки, марсианские пейзажи, острова Океании и лица пророков. Закопчённый потолок терялся во мраке пятиметровой высоты. Оттуда пялился тусклый жёлтый глаз «лампочки Ильича»*. Часто безумные наши гости или Черкасский вываливали в унитаз огромные варёные кости. Тогда мочефекальная жизнь в нашей квартире останавливалась. Вернее, она перемещалась во двор или на чёрную лестницу. У меня обычно у первого сдавали нервы. Я лез по плечи рукой в зловонную жижу и освобождал горло чудовища от ужасного коклюша.

Самой важной и драгоценной частью сортира был туалетный круг. Его обожал наш хозяин. Он его боготворил и лелеял. Все пользовались этим и над ним издевались, придумывая разные чёрные шутки. В один страшный день круг сломали. Это была трагедия № 1 в нашей коммуне! Благодетель выл и орал на нас как подкошенный, горю его не было предела. Эта истерика послужила поводом для написания рок-оперы «Туалетный Круг». Я помню начало: «Кто сломал туалетный круг?» – «Он умер, задуйте свет. Живое чудо, редкость без цены, на свете не найдется Прометея, чтоб вновь тебя зажечь, о, круг небесный, круг потустороннего зеркала...».

Про ванную комнату. Она была менее живописна, бледное подобие сортира. Там любили отдыхать наши многочисленные кошки. Часто в воду, где почему-то плавали кактусы, падали пугольные заезжие блондинки с Арбата.

Дальше шёл длинный-длинный узкий коридор, ещё более мрачный, чем прихожая. Коридор упирался в просторную кладовку, где горела зверски яркая, 500 ватт, лампа – жёлтым оком Кракена.

Коридор уходил направо, а слева прихожая сразу, прямой наводкой, упиралась в аналогичные входным циклопические двери. За ними находилась просторная мастерская, с высоким потолком, разлинованным лёгкой лепниной.

В этой комнате жили я и Шульц, а также прикомандированные к нам персонажи типа Вони Бараса и Лексуса Черкасова.

Мой сосед по камере был похож на отставшего в пустыне от армии Роммеля* немца. Шульц сочинял музыку, писал философские песни, балансируя между реальностью и грёзами, неизменно проваливаясь в липкий туман последних. Ещё он был похож на актёра чёрно-белого французского кино – «На последнем дыхании». Он сочинял: «Осень... В руках помидоры... Что же так скоро...».

Шульц проповедовал молодую философию экзистенциального панка, таким и прикидывался. Одевался он в стиле Джонни Роттена*. У Шульца был такой вид, будто он балансирует над пропастью или хочет дотянуться губами до высоко подвешенной виноградной грозди.

Воня поначалу был единственным образованным художником. Он учился то в МАРХИ, то в Строгановке и мог круто рисовать женские попки. То есть мог одним нежным росчерком нарисовать неповторимую линию. Воня носил рыжий ирокез, веснушки, нос, чёрные очки-капли, модные шмотки и наглое око. Если Шульц был наворотный маргинал с юга Москвы, то Воня был неформал с северо-запада, что, понятно, не одно и то же. И если Воня в данный момент не танцевал, казалось, это минутная передышка, его внутренняя оболочка двигалась в ритме даже во сне.

Лексус Черкасов был врачом, бросившим медицинский на дипломе. Он лечил все наши болячки, переломы и вывихи, но зараза Чистого переулка со временем проникла к нему в кровь. Он перестал быть добрым доктором, а стал сумасшедшим художником. Совершенно сошёл с ума под действием лизергиновой кислоты и ядовитой атмосферы творчества. Он писал огромные полотна, вываливал на них мешки риса и гречки, покрывал крупу флуоресцентными пигментами. Мы иногда воровали у него гречу и варили себе похлебку. Еще Лексус мог сутками вязать на спицах. Он вязал, нет, не шарфики: кольчуги для скифов, растаманские шлемы и инопланетные растения для ночных бабочек.

Лексус был сильно кудрявый, цвета летнего сена, с еврейским шнобелем; шустрый, с искрой в глазу – другой у него был стеклянный. Глаза нашего друга лишил еще в школе сегодня звёздный режиссёр, протирающий штаны на голубом экране – случайно, стрелой.

Мастерская – самое большое в квартире пространство: глухая стена и четыре окна напротив, выходящие в Чистый переулок; древние, подточенные жуком рамы и тяжёлые гранитные подоконники. В рамы были врезаны латунные механизмы, украшенные хитрыми улиточками. Чугунные батареи с ятями поддерживали гранит. Медные дымоходы украшали лепной карниз.

Сначала мы два года жили в мастерской, пребывая в нирване, не обращали внимания на окружающий нас пейзаж. Потом случился ремонт.

Взялись за обои – эти археологические пленки: сначала голубые с лошадами обои доктора Преображенского, дальше газеты – 1918 год, 20-й, 37-й. Некоторые древние папирусы удавалось отодрать целиком. Они попадали в кузницу современного искусства. Были там строгие слои 60-70-х и тронутые вольнодумством мира чистогана, последние – 80-е.

Но надолго энтузиазма не хватило: забубенили так, поверх бумажных островов белой водоземлюсионкой и стали жить в белом кубике.

Напротив окон стоял массивный пятиметровый брус, который мы всей коммуной зачем-то припёрли из мастерской Веры Мухиной. Брус стал священной диагональю нашей вселенной.

Стая кошек считала его тотемным столбом. Например, кот Ротор сидел весь день на вершине под потолком и со страшным рычанием скидывал прочих членов команды кошек.

Вдоль окон стояли две колченогие кровати и две антикварные тумбочки с помойки. На стенах висели бессмертные полотна, по углам шкерились* раненые этюдники: груды красок, бумаги, холсты, палитры с засохшей и свежей краской довершали творческий пейзаж. Рисовали все, через два дня, проведённых в Чистом переулке, любой человек, независимо от таланта, специальности, национальности, сексуальной ориентации, становился художником.

Как я уже говорил, вглубь квартиры уходил длинный-предлинный коридор, там начиналась относительно цивилизная часть квартиры. Сразу направо жила святая тётушка хозяина. Конец коридора упирался в большую кладовку, направо жил математик Манчо Злыднев и Стана Акобс. Манчо был сыном адмирала, великим математиком и великим соблазнителем женщин. Слева жил хозяин – неподражаемый Эд Гималайский!

Комната тётушки. Надо сказать, что тётушка совершенно не имела никакого отношения к нашей буйной компании. Но она всех нас любила и считала прекрасными, гениальными ребятами. Она была прикладным художником, тихо и незаметно расписывала у себя в комнате кубки с лыжниками, хоккеистами и олимпийскими кольцами.

Мы тоже по очереди рисовали лыжников. Так что в общий котёл обламывались какие-никакие бабки. С премии тётушка покупала нам всем коньяку. Тогда мы запирались от гостей и устраивали незабываемые семейные банкеты. Тётушка была невысокого роста, с причёской, в очёчках и в сером, по будням, рабочем халате. Удивительным образом немолодая женщина в полной гармонии существовала в среде юных балбесов. Комната её представляла собой типичную камору с остатками антикварной роскоши: ломберный столик, часы с кукушкой и пузатый колченогий комод, бронзовая люстра с цацками из горного хрусталя, волосатые темно-синие обои с остатками золота.

Впрочем, мы старались оградить тётушку от нашей гоп-компании и особенно от гостей-идиотов. Берегли её, как могли, и по мере сил помогали с бабушкой.

Комната Манчо: аскетическая обстановка, на потолке болтались огрызки люстры, генеральский стол с красным сукном, прибывший с помойки, и вечно разобранная кровать-аэродром. Иногда, крайне редко, Манчо хватался за мастихин* и жонглировал краской на холсте. Тогда и сам Злыднев, его гости и потолок, понятно, стены и постель покрывались синими, красными, жёлтыми блямбами масляной краски. Часто Манчо надирался невероятно и падал с размаху на свежую палитру, да так и ходил в алых и смарагдовых пятнах по городу. Манчо был человеком дикого нрава, с железными кулаками и мощной кувалдой, но нас он любил как родственников. Родственники для него были недалеко от понятия «святые».

Первое время Злыднев ходил на занятия в университет. На мехмате в МГУ он был лучшим на курсе. Но, связавшись с дураками-художниками, все бросил и стал человеком мечты, как, впрочем, все жители волшебной квартиры. Поначалу к нему часто приходили из МГУ чистые мальчики и девочки в очках, они просили помочь сдать сессию. Понятно, это быстро закончилось, после того, как Манчо заставил их пить гидраку*.

Манчо дальше и дальше удалялся от великой теоремы Ферма*. Он завёл себе зелёный ирокез, ботинки американского спецназа и серьгу в ухе, написал на стене огромными буквами «NO FUTURE» и стал так же неистово как треугольник Паскаля* проповедовать сомнительную мудрость летящего в пропасть мира.

Он бегал по соседним крышам и кидался кирпичами. Однажды нам позвонили из пивного бара: «Здесь-де татары Манчо бьют». Мы бросились спасать друга.

Барная стойка была сломана пополам, по потолку и зеркальным нишам с иноземным пойлом прошёлся табун ковбоев, печально скрипел сломанный музыкальный автомат, в сортире плакал бармен. На полу лежала куча бездыханных печенегов, сверху спал Манчо.

Вершиной лихой, brutальной комедии по имени Манчо стала история с коленвалом от автомашины ЗИЛ*. Манчо, когда надирался в лоскуты, швырял в окно все, что попадалось ему в руки, в том числе и бесконечных поклонниц большой балды. И вот этот ужасный коленвал полетел в мое парадное окно,

но внизу он как-то подозрительно крикнул. Посмотрели вниз. Зверская болванка пронзила крышу шестисотого мерседеса и скрылась в рваной черной дыре. Очень скоро нам позволили в дверь...

Девяностые... Внизу находился штаб, главное бандитское кафе нашего района...

И они пришли – очень страшные бандиты, из очень страшного фильма: без шеи, лысые, в малиновых пиджаках, глазки-угли прятались в глубокой складке потной рожи.

Они вели себя очень по-деловому... Один сел у дверей. Другие распяли Манчо на стене его комнаты, сорвали с него штаны, обнаружили кувалду, в куче хлама нашли огромные садовые ножницы и решили нашего друга кастрировать. Мы все хором настойчиво попросили их этого не делать. Девушки рыдали. В общем, атмосфера была жуткой. Если учесть, что все при этом были пьяные в хлам и объевшиеся таблеток.

Удалось процесс приостановить. Все переместились на кухню. А несчастный Манчо остался висеть. Начали бухать уже с бандитами. Они пили и удивлялись, как можно жить в таком ужасном кошмаре. Наша творческая атмосфера вызвала у бандитов панику. Странно, что они тоже немедленно не стали художниками!

После третьего стакана они поняли, что мы – их зеркальное отражение. Мы тоже некие воры в законе, тоже живём вне системы и тоже кладём с прицепом на суд и их законы... Но отражения не должны встречаться никогда. Сейчас мы встретились и должны заплатить сполна...

Между тем к нам прибывали иностранные туристы с Арбата, в надежде выпить и раскуриться: этакая свободная жизнь в обновленном СССР. Понятно, камеры, фотоаппараты, баксы и фунты стерлингов перекочёвывали в широкие карманы наших соседей с первого этажа. Была дана команда: «Всех впускать, никого не выпускать». Выпили ещё, уже со скулящими японцами. Бандиты забыли про

Манчо. Их очень заинтересовали маленькие японки, такого материала они тоже никогда не видели. Расстались почти друзьями. Манчо больше тяжёлые предметы в окно не бросал...

Иногда у Манчо наступал период схоластической тишины. Он изгонял всех своих поклонниц, исключением была только Стана Акобс. Он запирался в чулане, в гнезде из старого театрального тряпья. Он мог не выходить неделю. Только иногда благосклонно принимал от нас пищу.

Кончил свой жизненный путь Манчо достойно великого берсерка лесной опушки: он утонул в канализации. Пройдя через увлечение диким бизнесом, где он фигурировал как Манчо-Снежный барс, он стал диггером. Одно из погружений на дно московской клоаки закончилось фатально. Где-то прорвало форсунки, и неистовый водопад грязных вод забрал нашего Манчо к себе в царство Аида*. А ведь он был свидетелем у меня на свадьбе...

Стана Акобс была девушкой Манчо с большой буквы. И если он регулярно изменял ей телом, то душой – никогда, а такого тела хватало на всех.

Она была тихая и резкая. Она не заплачет, просто возьмёт мачете и разрубит обидчика пополам, с ангельским ликом, длинными волосами и длинными-предлинными юбками.

Наконец, апартаменты Эда Гималайского – хозяина, благодетеля, нашего доброго гения. Эд носил длинные неаккуратные волосы, всегда сильно лакированные. Из гнезда волос торчал только длинный нос и почему-то щёчки. Носил он гимнастёрку старого образца, доставшуюся ему в армии как модный неуставной продукт. Эд сутулился и как-то нависал над полом своими длинными перстами, казалось, он не в фокусе или силы гравитации ему мешают, все время опрокидывают нашего барина. При всём своём несуразном виде Эд не был никаким панком.

Он был высочайшей пробы эстетом. Он смотрел, искривившись, в потолок. Он мечтательно закатывал глаза и вздыхал о каждой покрытой исторической пылью спинке стула.

В святую комнату Гималайского можно было попасть только по особому приглашению, с высочайшего соизволения. Берлога была абсолютно другой планетой, в другой галактике и в другой вселенной. Золотая шкатулка в пыльном, потертом сундуке – дворец среди руин. Окна укутывали тяжёлые, из зелёного бархата портьеры с кистями. На покрашенных лазурью стенах пускали лучи древние гравюры и живопись великих. Комод, горка, стол времён Людовика XIV и сотни предметов, начиная от меча Зигфрида* и заканчивая китайскими костяными шарами*. В глубине в цветном полумраке нога на ногу, в позе Бердслея*, в клубках дорогого табака клубился наш Гималайский – одетый в махровый халат, брошенный императором Наполеоном в Москве. У него всегда были запас дорогого западного бухла и связка сигар.

Когда мы были не совсем пьяны, старались беречь хозяина. Но часто табор терял тормоза, и дворец Шахерезады подвергался монголо-татарскому нашествию. Однажды в замочную скважину мы застучали Эда, когда он раскидывал деньги и самозабвенно кружился в этом вихре царя Соломона*.

На самом деле я очень люблю Эда и по сей день, при всей его мультяшности он был нашим благодетелем. Пустил такую ораву подонков к себе в апартаменты, обогрел и накормил.

И вот я буквально вчера назначил ему свидание и интервью. А сам к вечеру ужасно набрался, и интервью не получилось...

Вот его огрызки!

2. Эд Гималайский.

Эд родился на Арбате, и когда ему исполнился годик, Эдик переехал в Чистый переулок. В большой коммуналке справа жили замечательные люди, слева замечательные люди, а по центру – алкаши, люди из тяжёлой реальности с «нормальными детьми» – бандитами, хулиганами. Тогда ещё жил в квартире владелец всего дома. То есть тот великий человек царских времен, дружок Булгакова. Он занимал самую большую комнату.

То есть комнату, в которую заселился я с Шульцем.

Седовласый, породистый мужчина с прекрасным набором древних вещей на своей урезанной жилплощади. Он умер, когда мне было восемь лет. Единственное прекрасное воспоминание – это сказочная обстановка старого чёрного дерева, с уникальными предметами и с потрясающей живописью на стенах.

– Я трогал это чёрное дерево и малых голландцев на стенах. В этой комнате было ощущение готики – много пыли покрывало прекрасную антикварную мебель. Волшебный запах старого антикварного магазина, в который почти никто не ходит.

– Простая история – почему я никогда не ем рыбу. Было мне тогда шесть лет, и, вернувшись из детского сада, я сел что-то поесть в комнате своей. И вдруг – крики, ужас, семья алкашей фактически подняла квартиру на дыбы. Оказалось, что мужичок крепенький заглотил селёдку целиком – с костями, шкурой и головой. Алкаши никак не могли её достать обратно.

А я – маленький ребёнок... Все тянут её обратно, кости встают поперек – полнейший ужас... Мне было так страшно, что с этого момента я перестал есть рыбу. Он, конечно, не помер. Как умрёшь, если ты выпил целый жбан!? То ли кошки с чёрного хода съели селёдку у него в глотке, то ли жена достала...

– На самом деле коммуналка не была развлечением. Был спокойный тихий быт. Тётушка с нами не жила. Она жила на Кропоткинской рядом с метро. У тётушки была тоже коммуналка, смешная, двухступенчатая, сложная, деревянная.

Мама была хорошим художником.

Старорежимный хозяин не поддерживал квартиру – боялся соседей, то есть всех нас. Иногда приглашал меня в свою комнату, показывал и разрешал трогать вещи, которые были для меня фантастичными. Как только он исчез, начался п...ц. Дальше покатилося всё по наклонной. Начались драки за эту комнату. Алкаши... То, что вы застали, – это уже были гоблины, то есть дворники, а не настоящие жильцы.

Когда мы заселились на Чистый, там ещё были последние жильцы. Через месяц они исчезли. Например, Валя Свиноподобный... Так вот: выясняется, что это были не настоящие жильцы, а незаконные дворники. Настоящие, видимо, давно уже наслаждались жизнью в Химках. Дело в том, что очень много лучших домов в центре в 90-е поставили на капитальный ремонт, а жильцов выселили. Перестройка, денег у города не было совсем, и дома много лет стояли пустыми, с подключёнными коммуникациями. Вплоть до XXI века...

Художникам повезло, они беззаветно жили и творили в нелегальных творческих коммунах, в центре города, неполные десять лет.

Мы застали Валю Свиноподобного, так его звали. Он что-то долго болтался у нас под ногами, пытаясь с нами дружить. Какой-то склизкий пузатый человек, просто крот. Потом сгинул в Балашихе. Плеер к нему ездил.

Про Плеера дальше...

Плеер иллюстрировал его книгу. Возможно, был Валя и не плох – писатель. Это мы, мы были мерзавцы – высокомерные художники, аристократы.

– У нас была вторая по размеру комната в этой квартире, с самым большим красивым окном на юг. Напротив жила старая семья, душевнейшая старая интеллигенция, жила прекрасная старушка и её дочь, без детей – печальная история. Они показывали мне работы Серова, показывали хорошие книги, сидела со мной старушка на широком подоконнике. Старушке лет под восемьдесят, а её дочери порядка шестидесяти. Они обе чудовищно пострадали от нашей страны...

Две комнаты, так называемые бабушкину и Манчо, занимала семья алкоголиков. Хорошие нормальные алкоголики. Старшего посадили, когда ему было пятнадцать. Младшего – в шестнадцать. Бегали с топором по коридору!

А дальше было интересно. Ползал на коленках. Натирал полы общественные мастикой. Это была, в принципе, очень приличная коммуналка. Потому что алкоголики! Была только одна семья, а приличных три!

В подъезде на приступках стояли вазы, были обширные подвалы, где сидели дворники. Когда ты входил в подъезд, ты встречался со стеной, сделанной из толстого монолитного стекла. Когда ты спускался вниз, ты попадал в дворницкую. Перед подъездом – английская история, дом совершенно английский. Он спроектирован и построен по классической английской схеме хорошего, невысокого, но очень дорогого доходного дома. Дальше мы поднимались по простой широкой лестнице, каждая дверь была в стекле, в слюде.

– Двери помнишь?! Были три с половиной метра. Слюдовая структура, зажатая в тончайшие деревянные рамочки. Уникальная вещь. Конечно, в совдепии это было частично выбито, забито картонками. Ты помнишь, какое было стекло?! Оно было непрозрачное, оно свет пропускало, оно было нормированное и при этом обладало фактурой. То есть оно было рельефно. Это тот самый дом, который описан в «Собачем сердце». Это был действительно дорогой доходный дом до революции. Наша прихожая – там стояли сундуки. Мать была прекрасным художником: понимала и чувствовала красоту. Собирала вещи на свалках, покупала в антикварных магазинах у красноармейцев...

Так что же я рисовал, когда жил в коммуне в Чистом переулке? Тогда мы много экспериментировали и с техникой живописи, и с материалом, и с сюжетами картин. Может быть, это было в какой-то степени наивно, но точно искренне. Моей рукой водил метафизический космос, ангел высокого искусства стоял за моей спиной. Например, я брал холст два метра на полтора, рисовал на нём маслом жирно-жирно волшебницу Медею на жертвенном костре в наушниках, с приёмником Филипс – буквально выдавливал из тюбика все краски, бросал блинчики нитрокраски. Потом заливал это лужами уайт-спирита и приклеивал к этому цветному тесту слои полиэтилена. Потом это богатство сохло месяц. Затем я отдирал полиэтилен – на холсте оставались нежнейшие складки, лабиринты, уховёртки, многоножки и куколки и имаго – получался магический подмалёвок.

Тогда я садился и уже рисовал тонкими кисточками – наводил совершенные лессировки. Сюжетов было много: Иисус с Буддой под деревом Бодхи, Моби Дик в космосе проглотил Иону, голая истина на дне колодца, «Мне не спасти всех зайцев и не накормить всех волков», «Хлопок – одной ладони».

Я рисовал средневековый город в плену марсиан. Думаю: «Как бы это всё уконтрапупить brutally!?».

Работал я на свежем воздухе, на огороде учёной дачи. Там на меже стояла трёхлитровая банка, доверху наполненная живыми колорадскими жуками. Я высыпал их на сырой холст. Они разноцветными пятнами расползлись по участку – ушли жрать свой картофель.

А средневековый город покрылся древними письменами.

Карма, конечно, немного испортилась.

Ещё я много писал маслом на огромных ярких фотографиях. Потом, когда масло высыхало, корябал слой засохшей краски мастихином, он отделялся тончайшими плёнками – протирал борозды, трещины, лунки в краске.

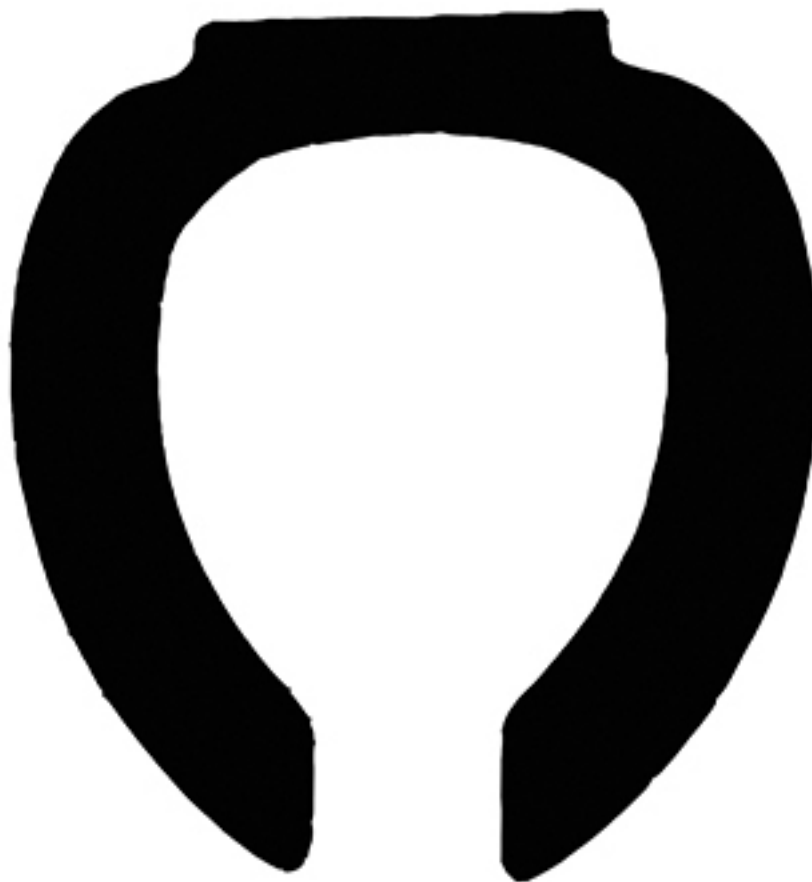
Мы любили нарушать яростно все академические приёмы и делали это вызывающе. Например – жидкое на густое, рисовали в полной темноте, рисовали со связанными руками, калечили холсты и другие кривые поверхности картины. Здорово было швырять в холст банки с краской, да и вообще всё что под руку попадётся, включая заезжих девчонок с Арбата.

Потом начиналось тонкачество: месяцами можно было искать, ловить фактуру – из цветного хаоса реальную живопись – океаны, горы, города, будд прошлого и настоящего, пророков и влюблённых.

Художников бесил периметр. Проблема не давала покоя, включая мёртвых модернистов тоже. Речь идёт о раме или заборе подрамника, листа бумаги, плоскости картона. Картину приходилось буквально впихивать в периметр забора. Мы были против самого понятия – ЗАБОР. Я думаю, это слово надо уничтожить, стереть из языков мира. Священная вселенная делания за периметром, за колючей проволокой, за забором!

Поэтому мы писали на огрызках рам, а не на том, что рама обрамляет, на надувных шарах, на цилиндрах стиральных машин, на облаках стекловаты, под водой, на дне обоссанной нашими кошками ванной.

Было нескудно – эксперимент длился годами...



I. Наш дом – примечания.

Метаморфоз – глубокое преобразование формы или структуры в течение развития различных организмов, в процессе которого личинка превращается во взрослую особь. Например, превращение гусеницы в бабочку или головастика в лягушку.

Наукоград – город, построенный вокруг сети научно-исследовательских институтов.

Переборка – вертикальная стенка внутри корпуса судна, разделяющая внутреннее пространство на отсеки.

Кингстон – задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой.

«Срочное погружение» – команда, подаваемая командиром подводной лодки для перехода в кратчайший срок из надводного в подводное положение.

«Гидроакустический горизонт чист» – доклад акустика на главный командный пункт, то есть на акустическом горизонте надводные и подводные корабли отсутствуют.

«Слушать в отсеках» – команда, подаваемая командиром подводной лодки экипажу, то есть слушать посторонние шумы.

Бахус (Дионис) – древнегреческий бог растительности, виноградарства, виноделия, вдохновения и религиозного экстаза.

Тёмная материя в астрономии и космологии – гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения.

Мустанги (сленг) – вши.

Мать Тереза – католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации сестёр – миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным.

Сенсимилья – созревшие, но неоплодотворённые соцветия женских растений конопли.

Нарисовался (сленг) – появился.

Каша и молочище – марихуану не только курят, из неё делают кашу с сахаром и вываривают в молоке.

Бакелит – вязкая жидкость или твёрдый растворимый легкоплавкий продукт от светло-жёлтого до чёрного цвета.

«Nobiscum Deus!» (латынь) – «Бог с нами».

Тонетовский стул – в середине XIX века в Вене Михаил Тонет изобрел стул из гнutoго дерева и запустил линейку мебели, сделанную по этому принципу, в массовое производство.

Пивная сиська (сленг) – пластиковая двухлитровая бутылка с пивом.

Спичечный вулкан – в советское время в подъездах подростки слюнявили конец спички, макали в известку, поджигали и – бац – приклеивали к потолку. На белой извёстке получался чёрный вулкан.

Облатки (устаревшее) – таблетки.

Лессировка (от нем. Lasierung – глазурь) – техника получения глубоких переливчатых цветов за счёт нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета.

«Лампочка Ильича» – патетическое название первых бытовых ламп накаливания в домах крестьян и колхозников в Советской России.

Армия Роммеля – немецкий Африканский корпус (нем. Deutsches Afrikakorps (DAK)) в период Второй мировой войны.

Джонни Роттан – британский рок-музыкант, основатель панк-группы Sex Pistols.

Шкериться (сленг) – прятаться.

Мастихин (от итал. mestichino) – специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления красок.

Гидраха (сленг) – технический спирт, добываемый из разных непригодных к употреблению в пищу продуктов.

Великая теорема Ферма – одна из самых популярных загадок математики. Её условие формулируется просто, на «школьном» арифметическом уровне, однако доказательство теоремы искали многие математики более трёхсот лет.

Треугольник Паскаля – на вершине и по бокам стоят единицы, а каждое число равно сумме двух расположенных над ним чисел.

Коленвал от автомашины ЗИЛ – вал коленчатый, завод имени Лихачёва.

Царство Аида (античное) – Аид – бог подземного царства мёртвых.

Меч Зидфрида – Бальмунг, меч, упоминаемый в «Песни о Нибелунгах».

Китайские костяные шары – удивительные предметы древнего китайского искусства, костяные шары, вырезанные один внутри другого.

Бердслей – Обри Винсент Бердсли (Бердслей) – английский художник-график и поэт.

Царь Соломон – третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета.

II. ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ЖИЗНИ

Укрощение Большого Карло. Ночные крыши Остоженки. Мойщик троллейбусов на Миусской площади. Адская кочегарка. Банкет в Новоспасском монастыре. Звездопад в Алмазном центре.

Жизнь в Чистом переулке была выходом в иную вселенную. Это был скрытый в чреве столицы портал для прыжка в материальное подсознание. Все жители, включая бабушку и

тётушку, об этом знали и даже скоро как-то стали относиться к чуду как к обыденности. Многочисленные гости, которые набивались к нам с мёрзлого Арбата, сразу это чувствовали.

После очередной трансмутации* я, сначала увёртываясь от голой Заиры, разлил по дороге банку вонючего растворителя по полу, прыгнул в чужую кровать.

Была у нас в Чистом прекрасная Заира – падшая Лоретта Янг*, с грудью подростка, с длинными ногами, вся непредсказуемая и совершенно слепая. Она часто ходила по квартире голая и яростно исповедовала крайние формы ордена свободной любви. Почему у нее было плохое зрение, она не разглашала. Был у нее жених-итальянец. Язык его чаровница не понимала, но любила безумно. Она утверждала, что для общения с заграничным принцем ей достаточно одного итальянского слова – рефрижератор.

Этой ночью Заира выбрала меня в качестве проводника в сады наслаждений.

А у меня голова вращалась, и жбан был прострелен стрелой, выпущенной из хищного облака. И я позорно бежал...

В три часа ночи меня разбудила ужасная стекловата рыжей бороды, воткнутая острым клином мне в переносицу. Рядом свистело тело ужасного, губастого колхозника.

Я бессознательно эвакуировался в ледяной космос, в метель плавильни жёлтых фонарей; бросился, взнуданный свирепым снежным ураганом, к Москве-реке. Перебрался через Большой Каменный мост. Там на фасаде Центрального дома художника висели два огромных бело-снежных холста, лихо надетых на безупречные подрамники. На одном огромными буквами значилось – «БОЛЬШОЕ КАРЛО». Это судьба: «Я напишу самую большую картину в мире, я переплону Ивάνова*...», – пульсировало серое вещество в моей голове.

Не раздумывая, я и вращавший меня метельный ветер залезли на леса, набросились на подрамник и сорвали его с петель. Упал, а сверху на меня с глухим стоном рухнул парус, размером шесть на четыре. Я пополз на четвереньках по льду, придавленный стартовой площадкой в большое искусство. Сконцентрировавшись, я заревел, как японский самурай на поле боя, встал в полный рост и моментально превратился в парусник, в котором мачтой служило мое туловище.

Я рвался на мост, но ветер возвращал меня обратно в музей. Тогда я стал двигаться галсами. Помогло. Порыв ветра надул парус и забросил меня на мост.

Я перся по мосту – «Большое Карло» яростно сопротивлялось, вибрировало всеми своими шпангоутами. Оно полоскало меня, словно старую газету, захваченную ураганом, грозя скинуть под колеса машин или с огромной высоты грохнуть на лёд Москвы-реки. Обалдевшие машины сигналили, я дрыгал в воздухе ногами. На противоположном берегу меня сдуло в гранитную пропасть. Пролетев по воздуху, я врезался в землю у бассейна «Чайка». Спрятанный от ветра домами, по безлюдной Остоженке добрался до дома. Теперь требовалось поднять холст на четвёртый этаж. Вращая огромную плоскость, я битый час ввинчивался вверх по лестничным пролётам. Я разбудил всех поселенцев, но чудесный подарок ночи впихнул внутрь.

Отовсюду на меня смотрели тревожные глаза художников: раздавленный подрамником на полу, в темноте я пытался пролезть к свету.

Античный подвиг прославил меня в коммуне Чистого переулка, как Одиссея Троянский конь*. Целую неделю я ходил гоголем*. В скрижалях творческих сквотов 90-х этот подвиг был записан как «Укрощение Большого Карло». До самого Армагеддона «Карло» занимало целиком стену большой комнаты, соблазняя на живописный подвиг художников. Но никто так и не решился нарушить статус-кво*.

Через десять лет в поезде Москва – Одесса, в нашей компании в купе директор ЦДХ рассказала удивительный случай: чудо об исчезновении огромного холста с фасада музея во время подготовки выставки итальянского керамиста Карло Дзаули. Я не раскололся...

Проблема выпивки и корма в нашей коммуне существовала. Поэтому мы с Манчо часто занимались на различные подённые работы, обеспечивали нашу семью макаронами с тушёной, выпивкой и веселящими снадобьями.

У Эда было огромное блюдо, расписанное ромашками и стрекозами: туда высыпали три кастрюли макарон и шесть банок тушёнки, перемешивали с перцем. Особенно Эд вгрызался, словно пиранья, в тушёнку. Макароны падали ему на колени и на манишку воинской гимнастёрки, которую он, кажется, никогда не снимал.

Главным источником дохода была чистка крыш от снега и прочие высотные работы. Мы чистили крыши на Арбате, в Грузинском центре, на Кропоткинской, в библиотеке Тургенева и в Пушкинском музее, на Остоженке в Зачатьевском монастыре и на крутобоких крышах сталинского жилого сектора. Места были чудные. Район между улицей Остоженкой и набережной Москвы-реки был, наверное, последнем оазисом нетронутой архитектуры. Казалось, кто может уничтожить деревянные купеческие флигели, кривые улочки в лабиринте сказочных мистерий, пережившие суровые времена советского панельного строительства? Весь этот потрёпанный муравейник стоял, уверенный в своем светлом будущем.

Не ищите эти чудные места сегодня, даже памяти не осталось. Явились свободные от своих цепей новые архитекторы, ведомые всемосковским прапорщиком, и сказка перестала быть. Бомжей выгнали, древние речные пакгаузы, а с ними последние деревянные небоскрёбы растоптали, район заселили коррупционерами, в декорации, снятые с обложек западной архитектуры. Просто: «Золотая миля».

Обычно нас с Манчо на ночь запускали на крышу, заваленную снегом, и оставляли в здании, которое было в полном нашем распоряжении. В те времена охранник был совсем не обязательен за каждой дверью. Часто к нам приходили гости, и мы устраивали весёлый пикник на крыше. В любом случае, какие бы мы пьяные ни были, к утру наша крыша вибрировала протуберанцами девственной чистоты, подставляя свои медно-дюралевые переборки лучам нежного зимнего солнца – работали на морозце, весело и качественно. После очередного снегопада нас звали снова и снова.

Мы почистили сотни крыш и упали с них всего три раза. Один раз я покатился кубарем с очень крутой крыши Грузинского центра, но долетел только до балкона третьего этажа, откуда меня вытащил Манчо веревкой. Манчо как-то провалился в забитую мусором и старыми гнёздами широкую трубу парового отопления на Остоженке, откуда я его выковыривал целый час, веревки у нас не оказалось. Вылез он довольный – чёрный трубочист с деревянной коробкой серебряных рюмок. На ушах, в волосах, в рыжей бородке шуршали холмики доисторического пепла. На Пречистенке подо мной рассыпался гнилой карниз, и я повис над залитой желтыми шарами улицей на высоте шестого этажа. Но

Манчо как всегда был рядом.

Кроме чистки крыш, я не упускал других способов обогатиться. Я работал мойщиком троллейбусов в четвёртом троллейбусном парке, препаратором в МХТИ имени Менделеева – пока на четвёртом курсе окончательно не обменял его на кисти и палитру. Работал кочегаром в автобусном парке на Тушинской и трактористом в Сокольниках, валил лес в лесничестве «Лосиного острова». И, конечно, – сторож, сторожок, младший помощник великого сторожа в Алмазном центре на Филиях, в Новоспасском монастыре, в доме Аксакова в Сивцевом Вражке, в Планетарии.

Мойщиком троллейбусов я работал в четвёртом автопарке рядом с Миусской площадью. Одна бригада была бабки, другая – студенты.

Парк подвижного состава был наидревнейший, первый комбинат городского транспорта в новой индустриальной Москве девятнадцатого века. И назывался он тогда Миусским парком конно-железных дорог. Этот архитектурный памятник был собран из аккуратных, цвета пыльного рубина, древних кирпичей и напоминал готический монастырь. Имелась крепостная

стена, ров, неприступные ворота, башня дракона, рыцарский зал с камином и сворой охотничьих собак и многочисленные пыточные подземелья.

Мы драили эти троллейбусы, выгребая из них горки мелочи. В советские времена в троллейбусах были демократические билетные автоматы. Нужно было в соответствии со своей совестью бросить в прозрачный пластиковый треугольник деньги и открутить из бесконечной ленты билетик. Хулиганы этим пользовались, собирали деньги в переполненном троллейбусе себе в карман и выдавали всем неоплаченные билетки. Мы тоже так собирали себе деньги на пиво, когда ехали в знаменитую «Яму», в Столешников переулок.

Яма находилась глубоко под землёй, в лабиринте тяжёлых римских арок и египетских сакральных колонн, отполированных рыбными пузырями. Место с неизменными бледными поганками высоких круглых прожжённых столиков на ножке и с длинной цинковой лоханкой общего писсуара, в который мочились даже нетрезвые представительницы слабого пола.

Чтобы попасть в адское подземелье, нужно было отстоять бесконечную, прямо скажем, беспокойную очередь. Однако везде шныряли поюзанные, суетливые, с печальными глазами фрики. Они за рубль перевозили через Стикс, минуя контроль суровых архангелов. Очередь скрипела зубами, но терпела. Между прочим, за рубль можно было купить пять кружек качественного разбавленного пива. В подземелье стоял шум, как на военном аэродроме. Трёхметровые стены времён Ивана Грозного пробивали тюремные ниши, забранные толстыми решётками. Из колодцев валил зелёный дым табака, мочи и кислого пива «Колос». В ногах копошились колченогие уборщицы, в белых халатах на голое тело – мрачные, готовые встроиться в любую компанию. Они размазывали всюду грязной, липкой ветошью пивные лужи.

В колодцах вращались одетые гнёздами древней пыли гигантские вентиляторы. Но они не спасали. Счастливые граждане швыряли в пыльный водоворот горящие окурки. Пыльные гнёзда дымились, выплевывая вверх на мостовую фейерверки искр. Часто гнёзда загорались, и тогда в Яме начинался пожар. Фрики бросали рабочее место и бежали тушить огонь. К ним присоединялось нетрезвое интеллектуальное общество. Тушили пивом, передавая по цепочке. Потом источник перекрыли. А на этом месте открыли достойный статуса махрового центра дорожный ресторан. Но «Демокритов Колодец*» никуда не делся. Через пару лет жирный ресторан буквально провалился в яму – ушёл под землю вместе со всеми своими новыми русскими гостями...

Во времена дырявых автоматов за сутки на пол троллейбуса просыпалась куча мелочи, на радость ночным уборщикам. Мы собирали вместе со старушками богатую жатву. Под утро соревновались, какая бригада собрала больше. В месяц это был неплохой приработок.

Часто в парк приезжали забытые вещи – сыр, колбасы, бухло. Будто почуяв, из подвалов парка проявлялись дежурные ночные электрики подвижного состава. Они были старше по званию, чем мойщики, и требовали свою часть добычи. Ночные троллейбусы привозили скрюченные тела пьяных. Мы со старушками выкладывали их штабелями перед воротами парка, на которых были выдавлены две огромные красные звезды.

С первой зорькой сильно мятые господа просыпались, трясли непослушными головами, затем сусликами, спасшимися из капкана, улепётывали.

После работы можно было прокатиться по ночному району на троллейбусе: звеня рогами, рассыпая снопы искр на поворотах, кружить вокруг Миусского парка.

В четвёртом парке я узнал поразившую меня на всю жизнь истину, которую исповедовали ночные электрики подвижного состава: «Жить надо так, чтобы каждый день у тебя с утра была бутылка водки!».

Самым зверским местом моих пролетарских бдений была автобаза на Тушинской. То есть не совсем на Тушинской, надо было еще ехать за МКАД.

Я помню: всегда невыносимо холодная ночь, колючие и очень злые звёзды, почему-то полуголый, я метался в этом грязном лабиринте, поскользываясь на горках замерзшей блевоты. Я никогда не был в этом оазисе вампиров днём.

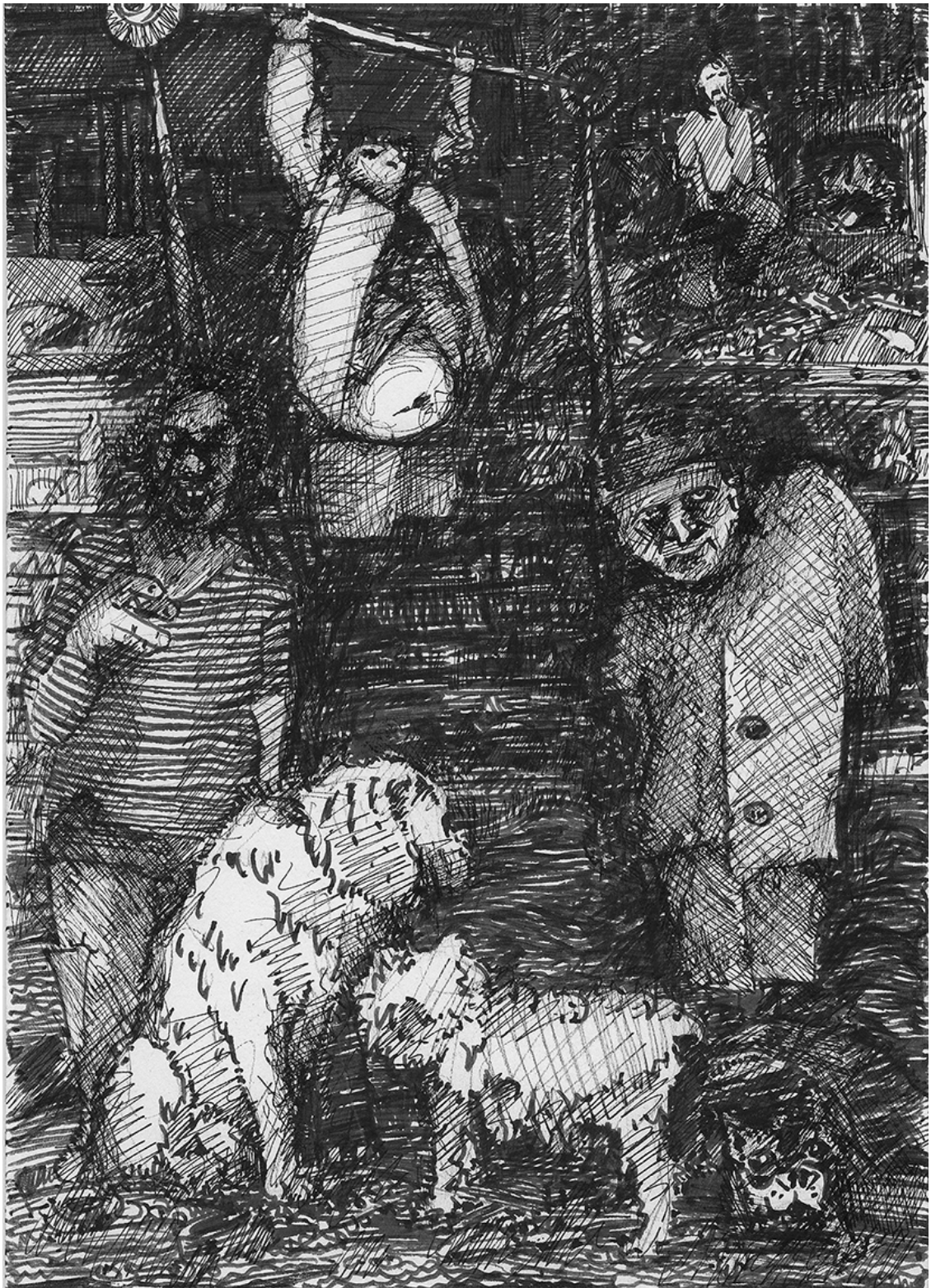
Автобаза выглядела так: огромное, убитое снегом поле, где спали, прижавшись друг к другу, автобусы и редкие колченогие грузовички, в кривое поле уходило кладбище подбитой техники. Меня встречали дырявые, крашенные суриком, травмированные техникой ворота с мощными клёпками. Внутри был засыпанный мусором, горками угля, сгоревшими шинами и собачьими будками двор. Справа находилась высокая хибара сторожа, обитая ржавым железом, с провалившейся крышей и кривой трубой, утратившей верхушку. К хибаре прилипли неправильной геометрической формы, заляпанные черной краской, сваренные из железа башни складских помещений. Слева стояла огромная, без окон, на кирпичных ножках, непонятного назначения изба. В глубине двора в морозной мгле плавился мираж – крематорий моей кочегарки, с большим тюремным окном, затянутым полиэтиленом. Вся местность внутри собранного из отходов штампованного производства пятиметрового забора была засеяна мелкой угольной пылью. Порошок разъедал глаза, на лице оставались грязные чёрные разводы. Всё пропиталось чёрной пылью: и несчастные кусты, и собаки, и сторожа, и снег. Стоило подуть ветру, в небо вздымался угольный вихрь.

Не менее живописны были обитатели кузницы мёртвых. Со мной дежурили калеки. Самый брутальный был Сидор Матрасыч. Это был очень толстый человек, 160 килограмм весу, лишившийся под трамваем обеих ног, обладатель круглой головы с рогами, как у пророка Моисея. У него всё было круглое – нос, уши, губы и глаз, второй был всегда закрыт. Носил Матрасович толстый моряцкий свитер и, не обращая внимания на увечье, являл собой очень позитивную личность – шутил и сыпал похабными анекдотами про Наташу Ростову. Вторым – Гурыч: карлик без руки, худой, вогнутый в землю, сморщенный человек, почему-то зимой ходивший в сандалиях, в мышинного цвета пальто и вытертой до дыр пыжиковой шапке. Я ничего не мог понять, что он говорит! Единственное, что было чуть-чуть понятно – это обязательная фраза, которую он лепил к своему бормотанию: «Мобыть, мобыть, мобыть, мобыть...». И третий – просто Отрубонец. У него не было четырёх фаланг пальцев. Этот был, в отличие от предыдущих двух, противный. Я не любил попадать в его смену. С лицом мёртвой вороны, он носил короткую тельняшку, мичманский бушлат и ушанку с кожаным верхом. Был он старым рецидивистом, сплевывал беззубым ртом, хотел навязчиво дружить и норовил насрать у меня в кочегарке.

Были ещё три собаки: большая, по кличке «Бычок» – старый беззубый алабай с голосом простуженного курильщика, средняя, очень позитивная «Муха» – она могла бы быть пуделем, если бы не многолетние угольные дреды, и зверски злющая, почему-то с кошачьим именем «Барсик», величиной с крупную крысу.

В гости приходили стаи бродячих собак из разных группировок. Их территориальные войны часто проходили в непосредственной близости от крематория. Про крыс рассказывать не буду...

Погреться, покормить собак, выпить с инвалидами приходили убогие бабки из соседних барачков. Было не скучно.



Сидор Матрасыч имел свой турник со специальным канатом, с помощью которого он добирался до перекладины. Пурга, Сидор пел песню про Марко Поло, подтягивался. Иногда он не мог сам слезть с турника и звал окружающих на помощь. Это было страшно.

Спал он на верстаке, покрытом черными, пропитанными углём ватниками, в мерзко вонючей сторожке, отбиваясь от крыс. Невозможно не вспомнить про «Прокрустово ложе»*!

Гурыч очень любил, усевшись на кучу угля, часами беседовать со мной, размахивая энергично култей. Его совершенно не смущало, что я ни слова не понимаю. Только бесконечное: «Мобыть...».

Кочегарка была абсолютно бессмысленным объектом. В зале, сооруженном из шести железных ферм, проемы между которыми были заделаны красным старорежимным кирпичом, стояла циклопических размеров печь с волчьей пастью горнила и тяжёлой заслонкой, которую закрыть мог только великан. Всё было сделано так, чтобы уголь не горел и не давал никакого тепла. За всё время службы мне ни разу не удалось получить тепло. Холод стоял жуткий, и в этом круге вращались вместе со мной все призраки ледяных миров.

Я сбежал из кочегарки и устроился сторожем в Новодевичий монастырь. Внутри находилась вторая крепостная стена с тяжёлой аркой, она делила территорию пополам. Главные ворота монастыря, минуя груз огромной восьмидесятиметровой колокольни, вели к открытому полю, заросшему бурьяном, к пузатому массиву главного Спаса-Преображенского собора и к Покровской церкви. Монастырь давно уже пережил свое скандальное прошлое двадцатых годов, коммунальное, когда здесь селились со своими семьями работники ОГПУ, и пребывал в сонной прострации возвращения в лоно церкви через шлюзовую камеру главного управления московской реставрации.

Сегодня здесь всё цветет монастырскими садами и террасными клумбами, а тогда было не так.

Представьте большой пустырь с разбросанными кругом косыми и кривыми упавшими в землю, распятыми после смерти надгробиями Романовых (монастырь был родовой усыпальницей), Черкасских, Троекуровых, Оболенских, Трубецких, Шереметьевых. Мотки колючей проволоки и фанерные звёзды – ниши, ниши крепостных стен. Ниши часто использовались как подсобки. Все они были кривенькие, из разного гнилого материала, со скрипучими калитками. Я гулял внутри стен при свете луны, тревожил знатных призраков пустыми тостами конца двадцатого века.

Была вторая часть, спрятанная от глаз крепостной посадской стеной: раньше, наверное, там жили монахи. Внутри находился экспериментальный мебельный завод. Завод на заказ делал мебель в единичном экземпляре для номеров люкс гостиницы Интурист. Это было царство погрузчиков, циркулярных пил и козловых кранов. Я охранял самоотверженно всё это добро. Было у меня три всё время менявшихся напарника. Лысенский, дородный мужчина с бачками – очень важный и степенный господин. Мы с ним пили самогонку и играли в шахматы. Я регулярно аккуратно проигрывал. Была толстая неопрятная бабушка. Она всё время спала, занимая всю будку сторожа. Третьей напарницей была очень страшная бабушка-ведьма.

Про неё надо рассказать отдельно. Это было существо, отдалённо напоминающее венец творения*. Жизнь её согнула в четыре раза, так что когда она передвигалась, голова её волочилась по земле. В одежде нельзя было выделить какой-то отдельный аксессуар. Всё это были ветхие, грязные, жирные тряпки и тряпочки. Голова – гнилое яблоко, была размашисто укутана в мешковину. На ноги были надеты огромные, сорок седьмого размера боты. Бабушка люто ненавидела весь род человеческий. И она проклинала его и проклинала, чистила его и по матери и по отцу. У неё случались припадки, тогда она извивалась сломанным насекомым у пункта приёма готовой продукции и проклинала, проклинала, проклинала – меня, генерального секретаря, мужа, президента Америки и почему-то актера Михалкова.

Я пытался ей как-то неумело помочь, и мы даже в конце моей карьеры немного подружились. Но при всей ненависти к людям, она любила животных патологически.

Так вот... Охраняли это дорогое царство собаки. Царем стаи был невероятных размеров горный пес, теленок, переросток на цепи. Он был очень угрюмый и опасный. Жил волкодав в большой просторной будке. Я лично старался с ним дел не иметь, но моя бабушка – она его боготворила. Кормила его, причёсывала, целовала, облизывала. Знаете, она никогда не спала

со мной в сторожке, чему я был зверски счастлив. Бабушка всегда спала в будке вместе с чудовищем!

И это меня тревожило, прямо сказать: казалось это мне всё ненормальным, поэтому приходилось пить на работе. Но иногда мои соратники не приходили на работу! Я дежурил один. Такая платформа не могла пустовать, приезжали дружки...

Иванов и Сидоров. Иванов был настоящим арийцем, таким он себя и считал. То есть он был высокий блондин, с тонкими губами и прямым носом. Они оба учились в МАИ. Сидоров был плотный, с лицом Дина Рида, мой старый друг, земляк. Он был школьной рок-звездой, пел в школьном ансамбле «Звуковой барьер». Сидоров пел на школьных дискотеках: «Не ходите, дети, в лес, там огромный член пролез...», или «Если девушка лесбиянка...», или «Медный рубль, железный доллар...».

В общем, и Иванов, и Сидоров были настоящие веселые парни, никогда не унывали и всегда были готовы к космическому полету.

Понятно, привезли много водки, а вот про закуску забыли. Ну не беда, у меня были ключи от всех помещений. Вскрыли административный блок, затем канцелярию, обнаружили холодильник, набитый сырами и колбасами. Главное было от всего отрезать немного, чтобы было незаметно. Из всех этих кусочков получился настоящий банкет. Было там еще три тараньки, которые я приказал ни в коем случае не трогать, штучный товар. И пошла лихая пьянка.

Сидоров пел голосом Гиллана: «SMOKE ON THE WATER». Так орал, что окна лопались. Иванов между тем освоил автопогрузчик во дворе, засучил рукава и представлял себя мотоциклистом с коляской. Неистово орал: «Дойче зольдатен, унтер официрен...». В какой-то момент к нему присоединился и Сидоров. Проклятый погрузчик бил по асфальту железными ножами, шум стоял невообразимый. В соседних многоэтажках начали загораться окна, мои сторожевые псы просто с ума посходили. Унять буйных не было никакой возможности.

Тут стали дубасить в ворота, я объявил шухер, пошел открывать. Друзья скрылись в администрации и затаились.

Открываю ворота. Картина, достойная кисти художника Перова... Приехали: директор ГКУ «Мосреставрация», директор экспериментальной фабрики, директор всех сторожей района и четыре наряда милиции. То есть весь двор монастыря забит серьёзными тачками и людьми в форме.

И все хором начинают орать мне в уши. Дескать, что за муть – спишь на посту, сработала сигнализация в главном храме и в бухгалтерии. А в главном храме – сто пудов золота в окладах и камушки!

«Да у меня все тихо, никаких происшествий...», – оправдываюсь я, пытаюсь не дышать спиртуозой в лица высоких начальников.

Тут главный майор передергивает свой ТТ и крадется. На втором этаже горит свет. Милиционер вскакивает на крышу и по-пластунски исчезает в окне второго этажа... «Ну, – думаю, – хана, этот псих сейчас перестреляет моих корешей...», и действительно в ночной мгле грохочет выстрел...

Когда майор со своим парабеллумом влез в окно, он обнаружил Сидорова, который сидел за столом главного бухгалтера и глупо лыбился. Герой в погонах в темноте не заметил спрятанного под столом Иванова и наступил ему на лицо, потеряв равновесие. Падая, он выстрелил в потолок, чуть не вдавнив Сидорову пулю в лоб.

Начинается обыск. «Ага, финка в кармане у Сидорова». Довольный майор лезет в карман, со злорадной рожей. И... вытаскивает тараньку. Тут уж я закипаю...

В общем, признал их я своими друзьями, ничего незаконного, просто веселый банкет...

Нас скрутили и повезли в отделение. Как-то неумело, даже водку не отобрали, и мы удачно продолжили праздник уже в обезьяннике.

Сидоров нашел скрипку с тремя струнами и всю ночь развлекал милиционеров прекрасными мелодиями рок-н-ролла. В итоге мы с нашими тюремщиками подружились и допили вторую бутылку вместе. Утром пришел следователь, взял показания и отпустил восвояси. Из монастыря меня, конечно, уволили...

Я сразу перебрался сторожем в «Алмазный центр». Рядом со станцией «Фили» есть большой стеклянный небоскреб, в этом учреждении занимаются огранкой алмазов. В первом корпусе алмазы уже не помещались, и рядом с ним решили построить еще один новый. Эту стройку мне доверили охранять.

Руководил сложным процессом многоопытный прораб Вечерин – красавец с дымиющимися глазами. Он был правнуком первого наркома иностранных дел* молодой советской республики.

Итак, мне доверили сторожить закрома, но я не загордился, регулярно бросал высокий пост на произвол судьбы. Часто во время вахты уходил на Чистый: или пить вино, или творить большое искусство. Или вообще не являлся, а звонил Воне Барасу, который жил в соседнем доме. Тот шел в правильный час и зажигал свет в вагончике. Иллюминация сигнализировала – сторож на посту.

Однажды, уже за полночь, я решил слегка посторожить алмазы и явился в свой вагончик. На посту играла музыка, визжали девчонки, местность укутал розовый, нежный туман. Грабители гуляли, не отходя от кассы.

Вооружившись арматурой, я распахнул дверь вагончика. По центру, в свете пятисотваттной ramпы сидел счастливый Вечерин, на коленках у него играли нетрезвые девчонки, все свидетельствовало о профессиональной подготовке банкета – бутылки с заграничными этикетками, икра и финский сервелат.

Я не стал важничать, охотно присоединился к празднику. Неожиданно я очень пришёлся ко двору. Более того, Вечерин решил, что этот странный сторож – интересный человек.

И понеслось. На работе меня теперь ждал философский диспут, кроме выходных, когда я мог сделать передышку. Вечерин накрывал поляну, переодевался во фрак, брал в руки арфу и ждал своего нового необычного друга. Прораб мне аккуратно подливал, бутерброд икрой намазывал. Я, плюясь от страсти, вещал про дальние страны, про чудеса инопланетных цивилизаций, про Кьеркегора* и «Суперсилу»*, «Степного волка»* и «Шестьдесят вторую модель для сборки»* и магические грибы*. Мы расставались с Вечериным на рассвете, он шёл командовать своими пиратами, а я отпарывался спать на Чистый переулок. Хотя я думаю, он тоже где-то давил харю в подсобке на ящике высокого напряжения. Вечером он встречал меня бодрым и как всегда лучезарным.

Как-то просыпаюсь в вагончике, выхожу и вижу: на стройке тоска – рабочие мрачные скучают, рассевшись, словно грачи, на строительных лесах. Звонит жена моего друга в слезах: «Вечерин исчез!».

Выяснилось: очередная ночная лекция была посвящена мистике крымского полуострова, утром мой чувствительный друг улетел в Симферополь, где алкогольным ветром пронесся по всему ЮБК*.

Времена были бедовые, пахло запоздавшей в России психоделической революцией. Сознание расширялось стремительно, мозг плавился в супе непостижимой вселенной – только Бог, вселенная бесконечность бесконечности вселенных, борьба темной энергии с антивеществом и великое делание искусства...

У меня на стройке случился пожар – расплавились искусственные алмазы, полностью сгорел туалет с дыркой. Искали сторожа, а его не-ту-ти...

Пожар потушил вовремя вернувшийся из Ялты Вечерин. Он стремительно восстановил сортир, выковал недостающие алмазы и накрыл поляну.

Вечерин – он был богатырь на просторах пустыря филёвской заимки. И опять на пепелище мы тревожили вселенную своими неоднозначными выводами. Искали Самадхи благородного восмистадийного пути Бамбара-Эрдэни-хубилгана* и очистившего пробужденное сознание Бодхисаттву*.

Однажды утром мы торжественно собрались в город Фрунзе, затем Ош, Кашгар, в провинцию Ладак* – столицу свободного от китайцев Тибета. Наши планы разрушили явившиеся на работу строители.

А ведь такие неистовые берсерки потаённой опушки могли, могли почти невозможное. Мы с Вечериным не стали хубилганами.

Жил неспешно, рядом с небоскребом, набитом алмазами.

Ой, Боже мой, какой вид открывался на всю непопсовую Москву на косогоре за строительными ангарами!

За забором начинался высокий берег речки. На месте сегодняшнего Сити и прочих печальных свечек демократии был пустырь, заросший непроходимым бушем*, с кратерами тухлых болот, обрамленных мангровыми зарослями*. По речке плыли буксиры и белоснежные пароходы. Из-за спины могучие тепловозы тянули очереди масляных, пузатых цистерн. Справа от железной дороги неслись жирной змейёй фуры, красные пожарные мустанги и олдсмобили*.

А над головой парили голубые птицы, низко взлетающие из Шереметьево. Конечно тут же, у завалинки, мясер на углях, огурчики солёные, сало, черняшка, лучок – все в таком моменте... И девушка Муся с зелёным ирокезом, худая мангуста, с глазами, полными слез, в лиловом море редких, диких подмосковных маков...

Часто ночью я ездил к Сучкову в Рабочий посёлок смотреть порнуху. Не то, чтобы я эту порнуху любил, просто у Сучкова был, во-первых, единственный на местности видеоманитофон, во-вторых, ему регулярно менты привозили с завода пятьдесят литров портвейна «Лидия» в кислородных подушках, в третьих, всегда присутствовало великолепное угощение и, в четвертых, на такие именины в гнездо слетались табуны лучших философов, поэтов и драматургов.

И там со мной приключился странный кобельбот. Приехал, выпил, зачем-то собрал закуску, выпивку, всех замужних женщин и увел их в подвал. Сколько там мы пробыли, не знаю, но когда мы вернулись, застали целую шоблу озверевших мужей. Били почему-то моих спутниц.

Я, как мог, защищал своих подруг. Я числился великим художником и был неприкасаем в этом доме. Мне было позволено все. Поэтому взбесившиеся мужья меня нежно отпихивали. И я летел опять в апельсины. Почему-то пол был устлан тоннами апельсинов. Бабы визжали, мужики пыхтели, мне было печально и скучно. Я, прихватив тормозок*, отправился к себе на стройку.

Электрички в четыре утра не ходили. В те времена в четыре ночи мир останавливался, превращался в вакуум.

На платформе меня обнаружил наряд милиции. Их беспокоило одно: где мои ботинки? И действительно – ботинки исчезли. Тогда милиционеры дружно принялись искать мои драные кроссовки «San Shaen». Один они нашли быстро, но второй искали целых полчаса. Все же нашли под платформой. От предложения одеть их мне на ноги я благородно отказался.

На стройке я обнаружил несчастного господина в костюме. Он весь был покрыт цементом, в волосах блестели стразы металлических стружек. Это был главный инженер. Пил он в ресторане на Юго-Западной, а кой дьявол его отправил в Фили, было неясно. Это был самый несчастный главный инженер в моей жизни. Он уехал утром на Зил-130 в сторону лопнувшего в небесах заката, а я стал искать ключи от «Алмазного центра». Их нигде не было! Нужно было ломать замок...

Я двигался по основному маршруту, отклоняясь то в сторону детских воспоминаний, то в сторону ловли камчатского краба, то проваливался в яму подковки литературной долгосрочной памяти. Двигался по Кропоткинской, с невероятным усилием отрывая ноги от донных цеплючих водорослей. Вдруг

г-рррррр... , включили радар, вытаскиваю из открытого канализационного люка сетку с крабами. Редкие утренние прохожие, обнаружив психа в тумане, спасаются бегством.

Но все же, как на передовой, забросал фашистов гранатами и добрался до нашего гнёздышка. Мне был нужен топор, фомка и молоток. Надо было сокрушить замок моего вагончика, где лежали ключи от стройки. Ведь после пожара на меня коллектив алмазных братьев смотрел ох как недобро...

Так я первый раз увидел Снорк. Она в недоумении, в мареве раннего утра увидела прозрачный призрак в клетчатом пальто.

Я метался по комнате, словно свободный баклан в водовороте Мальстрем*...



П. Две с половиной жизни – примечания.

Трансмутация – превращение одного объекта в другой.

Лоретта Янг – американская актриса, обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль (1948).

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) – русский художник, академик, автор полотна «Явление Христа народу».

Как Одиссея Троянский конь (античное) – идея обмануть Троянцев с помощью огромного деревянного коня приписывается Одиссею.

Ходить гоголем – с гордым, независимым видом.

Статус-кво – возврат к исходному состоянию.

«Демокритов Колодец» – есть только атомы и пустота, поэтому истина о вещах так же не доступна, как дно бесконечно глубокого колодца.

«Прокрустово ложе» (античное) – Прокруст обманом заманивал путешественников в свой дом, укладывал их на своё ложе и тем, кому оно было велико, вытягивал ноги, а кому было коротко – отрубал ноги по длине этого ложа.

Венец творения – принятое в христианстве выражение, указывающее на человека, как на особое творение Божье.

Пётр Петрович Шмидт – революционный деятель, один из руководителей Севастопольского восстания 1905-го года. Прославлен в романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», где упоминаются «тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта» – мошенники и самозванцы.

Нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин – российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930 гг.).

Кьеркегор – датский религиозный философ, основоположник экзистенциализма.

Суперсила – объединение четырёх фундаментальных взаимодействий природы в рамках одной суперсилы.

«Степной волк» – роман Германа Гессе.

«62. Модель для сборки» – антироман аргентинского писателя Хулио Кортасара.

Магические грибы – псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюциногенные видения.

ЮБК – южный берег Крыма.

Самадхи Бамбара-Эрдэни-хубилгана – состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами.

Бодхисаттва – в буддизме просветленный или хубилган, обладающий бодхичиттой, который принял решение стать буддой для блага всех существ.

Фрунзе, затем Ош – Кашгар в провинцию Ладак – горная дорога, ведущая из Киргизии через Китай в горную провинцию Индии Ладак.

Буш – кустарник в Африке.

Мангровые заросли – вечнозелёные лиственные леса, произрастающие в приливно-отливной полосе морских побережий.

Олдсмобиль – одна из древнейших марок автомобиля.

Тормозок (устаревшее) – кулёк с пищей, снаряженный путнику в дорогу.

Водоворот Мальстрем – водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии, который проглотил «Наутилус» вместе с капитаном Немо (Жюль Верн «20000 лье под водой»).

III. СНОРК

1. На плоту по Северной Двине. Поезд Москва – Воркута. Наши попутчики: Качек, Главный и Чукча. Мы превращаем старую пристань города Великий Устюг в плот. Проклятие «Метеора» на подводных крыльях. Страшные ловушки для бревен. Атомная лодка в лесах Вологодской губернии.

2. Деревня Зелёные (сразу из Устюга в Саратов). Случай на лысой горе. Зелёные – над пропастью Волги. Страшные волжские гопники. Печальный конец керамического центра.

1. На плоту.

Не прошло и месяца после происшествия в Алмазном центре, как мы собрались странной компанией ехать в город Великий Устюг, в гости к студенту МАРХИ Жжёному, боевой красной бригадой – я, Манчо, Синус и Снорк. Для нашей творческой коммуны институт МАРХИ был вторым домом. Мы радостно выпивали у фонтана, в кустах сирени, в столовке, в лабиринтах подвала, в церкви, прикомандированной тогда к институту. Клубились, конечно, в легендарной чёрной комнате*, не пропуская ни одного концерта. Обязательно выезжали летом со студентами на практику во Львов, в Таллинн, по Золотому кольцу. Теперь нас ждали архитекторы в Великом Устюге, куда нас умолял приехать Жжёный.

Этот долгий поход стал той дистанцией для меня, который в приличном обществе называется помолвкой.

Было просто – на полюс, так на полюс; под землю или в космос – пожалуйста.

Взял котелок, нож, соль и спички, уехал на три месяца – куда? Да в любую точку поднебесной. В те благодатные времена не было понятия «купить билет на поезд» – это называлось «вписаться». Денег не было, но это не мешало двигаться в пространстве комфортно, с хорошей закуской.

На вокзале за бутылку портвейна «Кавказ» мы договорились с проводником, вписались на третьи полки.

Выглядела наша творческая ячейка живописно – Манчо Злыднев, с крашеным в фиолетовый цвет ирокезом и дионисийской рыжей бородой, в серых рабочих монтажных штанах, густо заляпанных ярким французским маслом (спал в палитре), лётной куртке с парашютными лямками, из которой словно капуста шелушились карма, и в огромных водолазных ботинках. Синус – ангелочек с гитарой вместо лиры, борода клинышком, пробор, измученный лик с полотна нежного романтика Фридриха, тонкие губы, нос, глаза, тонированные под небеса, девичьи персты. Наш менестрель был упакован в штаны, бывшие джинсы, по которым лезли в сторону живота кожаные заплатки; куртка с волосатой бахромой по шву, на шее на кожаном шнурке висело колесо сансары*. Снорк тогда носила волосы, завязанные в тугой хвост, глаза – черешневые бусины, ямочки; казалось, она всё время что-то трёт в потоке горной реки – типичный енот. Была упакована до колен в толстый свитер, связанный из морского каната; через плечо хипповский холщовый мешок с трафаретом болгарского баса Христофа. Я выглядел как Распутин до грехопадения.

Ехали мы в Воркуту. То есть в саму Воркуту нам было не надо, нам нужен был Котлас. Там по реке мы надеялись добраться до Жжёного.

По вагону всё время фланировал странный тип низенького роста, одетый во всё чёрное, с чёрным дипломатом, в чёрных очках и сам весь чёрный. Так был чёрен, что лицо его терялось где-то в черноте. Мы его сразу окрестили «Главным». Ещё был крепыш, одетый в треник, с челюстью, со злыми глазами, бобриком и крошечными ниточками губ. Он везде, где это было можно или нельзя, орал песни Высоцкого, перебирая смело три аккорда. Мы его называли Володя Высоцкий. Был ещё Чукча в унтах и с элементами фольклора поверх турецких штанов. Маленький, с плоским лицом, без глаз и с проволоками прически – он ехал тоже без билета. Наверное, он вообще не знал, что они существуют. Мы звали его просто – Чукча, хотя он, кажется, был саамом. Наша компания облюбовала камеру, соседнюю с сортиром, но в основном мы жили в тамбуре. На боковушке под Синусом сидел гражданин в шляпе и в твидовом костюме, похожий на заведующего сельским клубом. Напротив ехал мальчик – очень тихенький, светленький, худенький – воробушек. Тётенька хлебосольная, в платочке, не утратившая своей девичьей привлекательности.

Из её огромного мешка поступала основная закуска. Был рыхлый нефтяник из Лабытнанги, в мешковатых армейских штанах с подвязками.

Последним вошёл в отсек задумчивый, худой как рукомойник, учитель в зелёных круглых линзах. Все персонажи этой комедии наведывались в тамбур пропустить по малой, кроме воробушка.

Накал алкоголизации в какой-то момент начал зашкаливать. Володя Высоцкий бил сардельками пальцев по струнам и с каждым новым стаканом менял показания. Сначала он был самым большим в мире поклонником кумира. Потом он стал лучшим другом. И под конец, в момент высокой ноты, стал Володей Высоцким, если можно так выразиться... Высоцкий орал как резаный: «Славный парень Робин Гуд»... и выл, как простреленный навывлет волк. Бился головой о железные перегородки. Звериная дикая силища вибрировала у него через край. Настоящий качок, с железными банками, паровоз с перегретым котлом, готовый взорваться. Высоцкий вращал налитыми бельмами глаз и сжимал кулаки так, что трещали фаланги пальцев. В общем, в тамбуре становилось небезопасно. Люди, которые хотели через нас попасть в вагон-ресторан, скопились в соседнем вагоне. А уже другие – сытые из вагона-ресторана,

застряли по другую сторону границы. Никто не решался встретиться лицом к лицу с Володей Высоцким.

В какой-то момент я понял, что с чудовищем я остался один на один. Вдруг Володя решил показать мне свой козырный номер. Он положил коробок спичек на заплёванную палубу тамбура и зубами решил схватить его и съесть, не пользуясь руками. Это было не слабо. Он в тамбуре-то еле помещался со своей комплекцией африканского буйвола, а тут надо было проявить чудеса гуттаперчивости. Он очень старался. Из штанов вываливался белый в полумраке зад, глаза налились плазмой, суставы трещали, сомкнутые за спиной руки в замке закручивались как мокрая простыня в руках крепкой крестьянки. Всё равно, когда до коробка оставался сантиметр, Володя падал со всей своей пудовой дури фейсом об оплёванный пол. Это продолжалось не один раз. После очередного фиаско он вскакивал и выл так, что в соседних деревнях зажигались окна. Он бился в железной коробке и разбил себе кулаки в кровь и лоб. Я опасно жался в угол. Тут случилось самое страшное – качок воспылал ко мне нечеловеческой любовью, и любовь эта заключалась в том, что мы непременно должны попиздиться. Это у них, у друзей, так принято, только у самых любимых, считай, родственников. Надо сказать, что я совсем не по этой части, тем более с таким циклопом. Силы явно были неравны, но мой новый лучший друг категорически настаивал и уже медленно стал ко мне приближаться, встав в стойку боксёра. Меня спас клетчатый мужчина в роговых очках, на свою беду сунувшийся в ресторан. Буйвол решил разобраться, как сильно пассажир в очках уважает Володю Высоцкого, а я тихо смылся под шумок.

На третьей полке сопел совершенно осоловевший Манчо, он корчил из себя математика из МГУ, читал перевёрнутый вверх тормашками «Опыт о конических сечениях» Паскаля. С соседней третьей полки на него как преданный пес смотрел Чукча.

Но самое интересное происходило на нижнем уровне. Вжавшись в жёлтую занавеску, сидел распластаный учитель, а на него напирал Главный со своим дипломатом. С таким неоднозначным текстом: «Слы, Чувак, ты у меня сейчас купишь пистолет и два ножа...». Дальше было сложно разобрать. Главный наступал на учителя, открывая и закрывая дипломат.

Снорк тихо шепталась с нашей тётушкой.

От всего этого бардака голова шла кругом, я зацепил Манчо и Снорк, мы намылились в ресторан. Тут материализовался Чукча, влюблённый в Манчо: «Можно немножко полежать на твоей кровати!?». Манчо снисходительно разрешил. Не успели мы прикончить первый графинчик, явился наш маленький воробушек и, тихо стесняясь, заявил: «Э, э, э... там это, ваш то... товарищ –уписался!». «Синус обоссался!» – на весь ресторан заорал Злыднев. Мы бросились бегом по вагонам. Синус лежал на полке с ангельской улыбкой на лице, положив розовый кулачок под щёчку. Под ним сидел мужчина в шляпе и нервно дрыгал индюшачьей шеей. Надо сказать, что он не то что ехал без билета, он сел с билетом не до той станции и заплатил приличный штраф. А его еще и обоссали.

Кое-как убрали и пошли снять стресс обратно в ресторан. Когда вернулись, вся компания сидела с заговорщическими лицами. Малыш сказал: «Слы, а он опять уписался». Мы стали искать новое полотенце, но все хором сказали: «Не беспокойтесь! Мы уж убрали...».

Следующий день был не менее беспокойным. Утром я обнаружил в тамбуре уже тёплых Синуся и Володю Высоцкого. Они сидели в тамбуре и орали песни, между ними дымилась бутылка водки. Так что, когда явились контролёры, Синус неистово заорал, дёргая струны: «Наша служба и опасна и трудна...». Почему-то они при этом набросились на меня. И я честно, отработывая «Зайца», бросился по вагонам и забаррикадировался в сортире. Они долго дубасили в дверь и ругались страшно. В туалете было прохладно и очень хорошо.

Я смотрел в открытую форточку на кудлатых коров, на очереди переездов, на бабок в оранжевых спецовках. Потом потянулись сплошные леса, топи, бурелом: промелькнул испуганный лось. Я курил и отхлёбывал горечь из фляжки. Когда я вернулся в наш вагон, поезд

стоял на безымянном полустанке. Обе двери были распахнуты. Друзья сидели на железном полу, свесив ноги наружу. Поезд дёрнуло, на платформе наша миловидная соседка кричала: «У меня там ружьё, под солдатиком! Малой меня убьёт!». Манчо что-то сообразил и исчез внутри. Через минуту появился с ружьём и стал целиться в Володю Высоцкого. «В меня стрелять!» – заревел качок и сломал пластмассовое ружьё пополам. Мы передали обломки нашей благодетельнице. Она осталась печальная на перроне.

Так и ехали с приключениями. В какой-то момент поезд доверху наполнился милицией, брали Главного. Мы решили: «Самое время клеить рапсы...».

По среднему проходу бегал Чукча и, заглядывая Манчо в глаза, спрашивал: «Максим, ну что, выходим?». Выпрыгнули в болото на полустанке «Котлас-Узловой», до города было ещё три километра, но мы никуда не торопились.

Тут, на острове весёлого болотца развели костёр: готовили супчик, чаёк, открывали консервы. Набив животы, все расплзлись на мягкие, пахнущие брусничкой и жуелицами кочки. Зря, наверное, не взяли с собой чукчу!?

Ракета на водных крыльях вечером доставила нас в Великий Устюг.

Сейчас мало что осталось от того брошенного властями и тем прекрасного города. Современная резиденция Йоулупукки не похожа на город из параллельных миров. А ведь здесь в 1964-м перед Киром Булычёвым разверзлась земля, и он рухнул в бездну. На дне он нашёл «Марсианское зелье».

По берегу изломанной полосой текли осколки деревьев, то расступаясь, давая выход к воде городской застройке, то скрячиваясь в завалы. За рекой открывались сырые, окропленные сливками тумана поля, очерченные вдали чёрной полосой леса. У самого берега печально стояли разорённые большевиками сахарные головы церковей старинной Дымковской слободы.

Меж хат носился фантом нашего друга Жжёного, с небес смотрел древний Перун, серые двухэтажные лабазы крушили дерево, а в центре были маленькие мы – Манчо, весь взъерошенный и заляпанный оранжевой краской, Синус – с гитарой наперевес, с подкошенными ногами, зачарованная Снорк и я, раздавленный безлюдной тайной места.

Краеведческий столбняк недолго держал нас за горло. Мы сразу почувствовали себя дома, прекрасно устроились на завалинке: открыли кильки в томате, сварили куриный супчик с буквами. Манчо гонялся с железной кружкой за совершенно невменяемой козой, а Синус ползал на карачках, вынюхивая что-то в подлеске треснутой ветлы. Нужно было срочно найти Жжёного, надвигалась ночь, мобильных телефонов не было, а Жжёный явно нас не ждал – последний раз он звонил месяц назад.

В темноте, после неудачного контакта с дюжиной аборигенов, нашли ветхую старушку. «Also diese Süchtigen und Sie kommt nur in der Schule, Sie lassen ohne Schuhe, das Pferd ihm unter die anhe...»*, – почему-то ответила бабка по-немецки. «Все ясно – надо искать архитекторов в школе», – дошло до нас.

Школа стояла на отшибе тупого форума близ речки за гумном. Никакого Жжёного там не оказалось, он неделю как ретировался куда-то в Архангельск. Недаром Жжёный носил фамилию Северодвинский.

В школе жили тихие, безликие студенты первого курса. Нам они были очень рады. Мы поселились в спортивном зале, комфортно устроились на гимнастических матах. Не считая студентов, в школе людей не было. Мы этим немедленно воспользовались. Прыгали на скалке в рекреациях, Синус пел неприличные песни на сцене актового зала, Манчо рисовал логарифмы в кабинете математики, загорали на крыше, в центре водоворота таёжных далей, внутри капкана трёх рек. Снорк забиралась на теннисный стол, дергала ногами и весело хохотала. Вдруг резко оборвалось – и Снорк исчезла. Теннисный стол её проглотил.

Ходили гулять в город. Больше всего мне запомнились остатки деревянной мостовой. Не маленький оазис, а целые улицы из железного дуба – северная Аппиева дорога*. Она, поднятая над жирной чачей чернозёма, волной, велосипедным треком на поворотах стремилась в точку в конце улицы.

Шли по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, который делит город на Гусяр и Слободу. Мы искали Адову улицу, место, куда провалился Кир Булычёв.

Рядом с официальной пристанью была старая заброшенная. Сразу решили отпилить кусок старой пристани от берега – построить комфортабельный плот. Студенты, конечно, решили, что мы окончательно спятили.

Мы с Манчо отпилили часть настила, набранного чёрными, гнилыми досками – причадили корпус к остаткам пристани. На кривобокой палубе подняли мачту, надстройку связали шпангоутами, обозначили нос, корму, киль и капитанский мостик. Студенты пилили, рубанили, долотили, предвкушая смачное зрелище – крушение антититаника.

Мы вырубили в брёвнах углубление для костра, нарисовали на простыне и водрузили на мачту флаг государства Тибет. Загрузили балласт, огненную воду, солонину, соль, спички и Синуса, совершили камлание – окропили на четыре стороны света корабль, студентов и берег. Ушли.

Студенты стояли печальные и растерянные на ржавой палубе баркаса, под стенами древнего монастыря, скоро они превратились в вопросительные знаки, ушли за горизонт.

Мы выгребли по центру широкой Северной Двины. Восторг рвал меня на части. «Неужели всё возможно!?!». Придумал откровенный бред – он воплотился в реальность.

Мимо нас проплыли новая пристань с горсткой речных буксиров, бабки с лоханками грязного белья, мужики, упакованные в ушанки и ватники, свирепый бык-великан со своим гаремом.

Кедры дырявили голубые небеса, соревнуясь с маковками уцелевших куполов. В ногах у меня горел костер, на нём радостно бубнил кипятком зелёный школьный чайник.

Синус вдруг заорал, делая лихую отмашку людям на берегу. «Мы к вам приехали на час...». Соло старенькой гитары потонуло в манной каше рваного тумана.

С берега ответили невидимые аборигены: «A last drink before a guest leaves the ship»*...

Дракар уверенно пошёл на Котлас по течению. Снорк и Синус, наши пластилиновые божки, вместе с вещами и гитарой плыли на втором этаже, обняв мачту, пока мы с Манчо боролись за живучесть*.

Бороться со стихией приходилось часто... Было два кошмара – это метеоры на подводных крыльях и ловушки для брёвен. «Метеор» – это поздняя модификация «Ракеты», с тупым носом. Чудовище носило имя – «Заря». Наша жизнь на воде тянулась: «От Зари до зари!». Потому что после этой грёбаной «Зари», которая гнала за собой цунами, происходило полное крушение нашего непотопляемого антититаника.

Дело было вот в чём. С одного борта у старого пирса было прибито очень толстое бревно, а с другого борта вообще ни черта не было, только палуба дырявая. Когда нас настигала волна, наш корабль делал «У – упс». То есть весь правый борт уходил на дно, и корабль превращался в поплавок. И так много раз, пока не затухнут волны. Мы с Манчо рушились в воду, а Снорк с Синусом, обняв мачту, многократно макались в воду в одежде. Ведро всегда уплывало, в нём горел костер. По реке плыл костёр параллельным с нами курсом, плыли рюмки, колбаса, бутылки, в общем, весь наш не закрепленный на палубе боекомплект.

О, сколько проклятий посылали мы работникам водного транспорта.

Поэтому плыть мы старались по ночам. Днём было прекрасно нежиться на диких пляжах, внутри салативо-миндальных зарослей плакучей ивы.

Но ночью была другая беда: нас подстерегали ловушки для бревен. Северная Двина – река сплавная, то есть по ней крепыши местные плоты дров гоняют. Но некоторые несозна-

тельные брёвна не хотят со всеми – одиночки, философы и художники; короче, плывут неконтролируемые никем брёвна. Но хитрые лесорубы ставят по центру реки понтон на якорь и соединяют его с берегом брёвнами, которые в свою очередь соединены между собой подвижной цепью. Наш счастливый круизный лайнер, по сути, был тоже неуправляемым бревном. Более того, наш плавучий полигон, кажется, сам настойчиво лез в западню. Вместо вёсел у нас с Манчо были две доски, которые очень условно справлялись с управлением.

Представьте: чёрная, чёрная ночь, то есть настолько тёмная, что рук своих не видишь, плюс костёр слепит. И вдруг страшный грохот, и мы оказываемся в деревянном аду – со всех сторон лезут без разбору, лезут брёвна-убийцы, совсем нелёгкие и немягкие. Костёр сразу опрокидывается, и на палубе начинается пожар. Чайник круто вращается, заливая все кипятком. Снорк и Синус орут, ошпаренные. Синуса сталкивает с палубы огромное бревно, и он болтается на его конце над нашими головами. А главное, не выберешься – нас засасывает внутрь ужасной прорвы.

В общем, боролись всю ночь за живучесть, с пробоиной в борту, плюс пожар. Только с рассветом Манчо вытянул нас за веревку, передвигаясь вдоль гирлянды сцепленных брёвен к центру реки, к понтону.

В довершение этого ночного кошмара, когда уже почти выбрались, наткнулись на понтоне на злющую лису, которая покусала Манчо. Он выпустил веревку и всё началось по новой – вторая серия. Весь следующий день мы спали в домике речного зрителя.

Но нельзя сказать, что наш водный поход был чередой лишений. Да, были некоторые неприятные кусочки, как без этого на флоте. Мы чувствовали себя командой лихого карбаса, а вокруг кружили пейзажи, достойные кисти художника. Высокий берег, поросший стрелами виридоновых елей, с провалами голубых пещер, с вывернутыми наизнанку корнями, сменяли



долгие болотные пустоши, с островами бархатной вербы и путанными оболочками бешеного огурца. Каскады отмелей, с тёплыми природными ванночками, детскими водоворотами и горами пахучей тины, теснили фарватер. Были дни, когда мы вообще никуда не плыли,

жили на берегу, на полянах, окружённых естественным частоколом вербы. Я ловил рыбу на резинку и ползал в джунглях уснувших стариц. Возвращался всегда с уловом – щавель, терпкий шалфей и душица, а однажды притащил забытую кем-то динамитную шашку.

Манчо занимался костром, варил мидии, пытался подручными средствами изобрести самогон. Синус валялся в кустах со своей гитарой, пугая бабочек и стрекоз. Снорк носилась по отмелям в черных очках и в свитере по колено.

Вдруг у нас абсолютно кончился балласт! То есть полностью закончились продукты.

Добыть пропитание в те времена было непросто. В стране наступил коммунизм, наконец, деньги не работали – работали волшебные карточки.

В магазине за деньги давали кисель и соду, в этом забытом богом краю между Устюгом и Котласом, где остались только старушки, которые паслись на брошенных колхозных огородах. Ночью на общем собрании решили идти в соседнее село, в поссовет.

Мы же путешественники, а путешественникам все ворота открыты, даже в великий пост можно бутерброд с салом и горилки. Манчо остался сторожить наш волшебный корабль, а я вместе остальной командой отправился за добычей в село Красавино.

Мы шли сначала излучиной реки, пугая наглых деревенских котов, потом свернули на юзаны колдобинами большак; на горизонте, зажатый альпийскими холмами, появился город. Миновали фабрику в стиле ивановского конструктивизма и среди поворотных прудов и зарослей боярышника обнаружили жильё* – милые голубые дворики. Во дворе школы № 15 стояла рубка подводной лодки – аналогичная той, в которой я провёл три года, атомного Ракетно-подводного крейсера стратегического назначения. Моя лодка здесь, в таёжном углу, за сотни километров от морей!?

Я, конечно, ещё во время службы подозревал, что мы ходили не только под водой, но и под землей. Сидишь четыре месяца в герметичной колбе, без окон и дверей и слышишь – метро где-то стучит.

В городе домов было много, но жителей не было. Только какой-то мужик беседовал с козой в глубине аллеи, да две бабки ругались у покосившейся телефонной будки. Мы спросили их: «Где поссовет?». И как они относятся к тому, что у них здесь атомные подводные лодки ползают? Наш внешний вид был для жителей Красавино совсем не в формате местных традиций. Я был в детской дырявой панаме на голове и в пальто выцветшего кадмия. Синус даже на туриста не был похож, в своих маргинальных портках он выглядел просто страшно. А Снорк всех шокировала огромными черными очками от солнца, причём накрапывал дождик. Нас сразу окрестили лешими. Было непонятно, плохо это или хорошо?

Поссовет оказался рядом со школой – пузатый домик с колоннами и клумбой, с цветами, выращенными с любовью сельскими депутатами. Среди роз, хризантем и благородных петуний торчали плотным строем головки дикого мака. У Синуса затряслись коленки, и он бросился в центр этой клумбы. Мы со Снорк проникли в чрево административного лабиринта и направились напрямиком к круглому кабинету, во флигель второго этажа. За столом сидела тётенька, у которой на голове красовалась скрученная из чужих волос крепость. Вокруг сидели три одинаковые старушки в народных сарафанах и дядька в русской косоворотке. Снорк пустила слезу, я показал паспорт водолаза, и карточки нам выдали. Внизу внутри чудесной клумбы маячила худая попа Синуса, он стриг головки, совершенно не щадя розы.

Оказалось, что лодка сюда приползла не случайно. В школе учился мальчик – Сергей Переминин, он попал на флот, на атомную лодку. На лодке загорелся реактор. Сергей отрубил главный тумблер, упало АЗ*, но из реактора он уже не вышел. Герой ушёл вместе с лодкой на глубину 6000 метров. Так он там и живёт, один среди рыб. За подвиг ему дали золотую слезу Героя Советского Союза.

В местном продмаге для нас вскрыли закрома. Выдали четыре бутылки водки, по одной на рыло, сало, крупы, консервы, морскую капусту и пчелиные соты для Снорк. Огурцы мы так, на грядках собрали и зачем-то зачётную тыкву.

Синус всю дорогу до речки нежно обнимал завернутые в его единственную куртку, вырванные по всем правилам с корнями маки.

Жирные искры костра ласкали лиловую лысину Марса. В воде, в лунной дорожке, вибрировали хвостами русалки.

Корабль мы отремонтировали в природном доке. Надстройку подняли выше и устелили её еловым лапником. По центру горел костёр, заключённый в металлический периметр. На огне возмущённо визжал закопчённый школьный чайник. Отчалили, решили к берегу не приставать, идти курсом на Котлас до победного. На берегу северным апельсином долго нам улыбалась забытая тыква.

У нас был уверенный запас бухла, соль, сахар, греча и чернушка. Уху варили в чайнике. Рыбу ловили руками. Нас радостно приветствовали аборигены на берегу и пассажиры опасной «Зари». Голопузые деревенские дети сопровождали республику «Свободный Тибет» весёлой стаей, параллельным курсом.

Нам с Манчо тяжело давались ночи. Пока нежная часть команды спала на лапнике, мы сидели по колено в воде, между нами плавал костёр, грозя опрокинуться и залить всё вокруг кипятком. Периодически мы проваливались в галлюцинаторный сон. Тогда казалось, мы пересекаем Стикс*, за нами гонится трехглавый Цербер*, берега плавятся раскалённой лавой, на горах пыхтят вулканы. Или Циклопы собирают свою мясную жатву, в погоне за монетой золотой луны.

Под утро второй ночи Манчо вдруг истошно заорал: «Папа, не надо...». Ему привиделось, что я его отец – адмирал, собираюсь пороть его ремнём...

Мы долго не задержались в городе. Главным событием был поход в баню и посещение рюмочной. В бане толстые старушки заставили Снорк застёгивать невероятных размеров бюстгальтеры. А в рюмочной мы познакомились с бригадой поморов. На деревянных бочках, внутри дворика, поверх сухих трав выпили штоф горилки, закусывая копчёным судаком...

2. Зелёные (сразу из Устюга в Саратов).

Идея была такая. Ночью загрузиться в последнюю электричку, с тем, чтобы как можно дальше откатиться от Москвы. Потом добираться до Саратова автостопом. Конечным пунктом назначения было село «Зелёные».

Дело в том, что ещё зимой мы познакомились со странной тёенькой – её звали Фира-директор. Фира носила узбекские штаны и длинные юбки, имела колючий бесцветный глаз, волосы убирала в пучок. Это был вулкан и водоворот в одном флаконе. Она буквально не могла спокойно сидеть на месте, всё время скакала, тёрлась спиной о колонны и яростно жонглировала бутылками. Алкоголь сыпался у нее из рукавов просторной размахайки.

Фира-Директор имела хриплый мужской бас и манеры резкого волжского подростка. Она была скорее некрасивая, но ярость, живущая в этом худом теле, притягивала мужчин. Так вот, у этой Фиры и у мужа ейного, которого почему-то звали «Сундук», был огромный кирпичный дом на берегу Волги, в селе Зелёные, в бывшем детском саду. Там над пропастью Волги находилась фабрика прогрессивной керамики. Мы обещали обязательно навестить Фиру летом!

Ночью мы рванули на вокзал, в суматохе потеряв пьяного в дупель Манчо.

Вагон электрички был пуст. Мы с комфортом расположились и решили поужинать – порезали грудинку, разогрели сухим спиртом кофе в кружке, достали связку воблы и разлили по стаканам. Закусывали, развалившись, как в каютах парохода, каждый в своем отсеке. Синус как обычно брэнчал на гитаре: «Секси Дуня Кулакова покупает ананас; У неё пиджак лиловый,

у неё подбитый глаз; Секси Дуня Кулакова покупает огурец; Это было очень клёво, но теперь всему...». Но в какой-то момент до нас стало доходить – поезд не делает остановок!

Выяснилось: мы в электричке совершенно одни – «Поезд беглец», «Сумасшедший поезд-убийца». Не было никого, даже машиниста, к которому мы дубасили в дверь почему зря. Скорость бешеная, ибо за окном мелькала только мазаная темень, вакуум и треск кинокамеры. Мы носились из носа в корму по всему составу – орал, выли, визжали. Синус орал зачем-то «Зиг Хайль» и неистово бил по басовым струнам, а Снорк подражала крику обезьян-ревунов...

Рассвело, и поезд-беглец остановился в чистом поле. Вскрыли двери обломком лопаты и, сонные, поплелись к лесополосе, кромсающей пространство на горизонте.

Бешеный поезд увёз нас аж за Рязань, куда-то в район поселка Утро. Развели костёр из старых ящиков, благо мистический полустанок был ими завален. Погрели супчику и завалились спать, в узкой полосе тополей, отделяющей жирную пашню от кукурузного поля.

Когда солнце выпорхнуло на сизый небосвод, мятые, но бодрые, попёрлись на трассу. Через пять минут нас взял новенький алый КАМАЗ.

Почему-то все сёла вдоль дороги назывались – «Лысая гора». В районе одной большой и особенно лысой горы наш добрый водила резко свернул в сторону деревни «Болтушка», а мы оказались в парке посреди мрачного, убитого хрущёбами населённого пункта, и конечно городок нёс гордое имя – «Лысая гора». На вершине которой, в городском парке, около вывернутого лентой Мебиуса ржавого, в лохмотьях краски, боком ушедшего в землю колеса обозрения мы решили пообедать. Траву покрывал ровный слой помойки: нас окружали калеки – детские качели, кривые алюминиевые детские грибы-мухоморы и дзоты детских песочниц.

Мы с Синусом зачем-то проглотили розовые таблетки. Поэтому отказали руки, ноги и мозг. Я плавился в состоянии свинцового эфира. Мир тяжёлым башмаком размазал меня по земле. Мы переместились на планету Юпитер, притяжение увеличилось в десятки раз и, кажется, температура тела начала приближаться к абсолютному нулю*, вокруг нас суетилась Снорк.

Юпитер накачивал и накачивал. Синуса как-то странно отпустило. Он вскочил, схватил свою заслуженную гитару и запустил мне грифом, очень больно, аккуратно в ребра. Затем он сгреб костёр в охапку и кинул горящий ком метко мне в живот. Так что я, обездвиженный, оказался посередине горящего леса. Если бы не Снорк, я бы сгорел заживо.

Безумный Синус умчался вглубь мусорного леса. Снорк пошла следить за ним. Выяснилось: он собрал местных детей, и они повели его домой лечить простуду!?

По-пластунски, как в атаку под танки, раненый, я выполз на трассу. Где, опираясь на Снорк, в позе гаргульи, мы пытались остановить тачку. Надо было рвать когти в Зелёньское.

Но сил не было, и я опять рухнул в придорожные травы, забылся тяжёлым сном. Только иногда просыпался и с удивлением обнаруживал местных пионеров, плящущихся на мою вгрызающуюся в матушку землю фигуру. Эти пионеры как колокольчики смеха бегали вдоль трассы туда-сюда. В какой-то момент нарисовался совершенно тихий и возвышенный Синус – наш ангел, видно, нашел лекарство от насморка.

Снорк смогла остановить кривенький грузовик с прицепом, доверху набитый ящиками портвейна. Водила долго удивленно пялился, как хрупкая девушка запихивала к нему на полку сменщика два обездвиженных тела. Но километров через двадцать я, наконец, ожил, и шофер перестал нервно ерзать на сиденье.

Шеф, конечно, заметил наше неадекватное состояние, но все было свалено на несвежий алкоголь. Все следующие триста километров мы слушали истории из жизни алкоголиков-самураев про метанол, политуру, бутерброды с гуталином на батарее и смертельно ядовитую капиталистическую парфюмерию. Когда трассу окутала чёрная, оранжевая ночь, наш профессор химии ушёл с маршрута. На прощание мы скромно попросили маленькую бутылочку «Агдама» из его бездонного прицепа. «Так берите, сколько хотите, всё равно половина в бой уйдет» –

сказал наш добрый пилигрим на колесах. Мы не заставили себя долго уговаривать, смело взяли ящик.

Деревни менялись на убитые хрущёвками поселки городского типа. Пошли дубовые рощи, появились в подлеске огромные белые мягкие шары – гриб головач. Народная молва считает эти шары головами заблудившихся грибников. На нежном зелёном газоне бились насмерть титаны членистоногого мира, жуки-олени. Горбатые мостики, затянутые алой ряской запруды, опушки сочились выползками нежного травяного парфюма, огибая треугольники муравейников. Задача была простая – двигаться в пространстве не скоро, но красиво.

Везде на горизонте проявились салатные островки лишайников марихуаны. Мы ворвались в зону ганджи.

Чудом миновали Тамбов, избежав голодной воронки больших городов, ночью в районе Котовска осели на живописном берегу водохранилища. Фуры дальнотойщиков стояли амфитеатром вокруг костра. Нас приняли как балласт в брутальную компанию шоферни, как попутный цветной мусор дорог. Усатые крепкие дядьки жарили мясо, пили водку и пели унылые песни дальних таежных станций. Ночью они ныряли головой в омут, ревели моторами в надежде разорвать чугунную якорную цепь. Когда дело дошло до гладиаторских боев с дикими животными, мы уснули, обнявшись в кустах...

Таки до Зелёных – добрались...!

Там уже сидел – рот до ушей – Манчо, он нас опередил стандартным методом. Зелёные росли очень близко от Саратова. На высоком берегу Волги стоял большой дом из красного кирпича, тонущий в сирени и вишнях. В подвале стояли печи для обжига керамики и, соответственно, всякие свежие горшки и свистульки. Вокруг стелились холмы живописных оврагов, паслись верблюды и бились щекой о крутой бережок матушка Волги здоровенные сомы. Все пространство, насколько хватало глаз, было покрыто ёлками выше человеческого роста сочной, жирной марихуаны. То есть утки жрали эту марихуану, коровы с задумчивым видом жевали, на холме сидел местный деревенский художник Контрабасов и тоже жевал кустик.

В доме кроме по-хозяйски вышагивающего Манчо было ещё три человека. Собственно, наша Фира-директор, её муж Сундуков и дочка Солнце. Приняли нас как самых любимых и достойных гостей, почти богов. Мы принялись с ходу жарить пирожки из конопли индийской.

Я сразу просёк: Манчо принялся за свои штучки, то есть уже захватил в свой плен легкомысленную жену Сундука.

Мы ездили в Саратов, где гуляли по набережным, пили пиво в местных натуральных барах*, валялись на скале «Волго», закусывая раками, играли с местными гопниками в футбол на кладбище тракторов. В Саратове мы усвоили святую премудрость: «Если в Маркс пиво не завезли, ищи его в Энгельсе».

Это два города-спутника на разных берегах Волги. Так и бегали потрёпанные мужики с трёхлитровыми банками по мосту с одного берега на другой. С нами везде таскались Фира-директор и Солнце, а дружелюбие Сундука с каждым днём улетучивалось, сменяясь ненавистью. Он стал нервным и резким, всё время ходил со сжатыми кулаками. Как-то уже ночью на попутном грузовике возвращались в деревню, на комарином распутье на нас, наконец, напали гопники, довольно страшные, просто бандиты.

Странно, что этого раньше не случилось, одеты мы были совсем не по местной моде. Длинные волосы тогда в глубинке совсем не приветствовались. Мы явно нарушили все правила скромного постсоветского общежития – это был вызов пуританским нравам. Нашего викинга Манчо с нами не было, он где-то клеил Фиру. Нужно было готовиться к худшему. Мы с Синусом могли только словом задавить!

Первым делом гопники забрали Снорк. Потом потащили меня за остановку, наверно, на ремни резать. Синус так скрючился, что стал невидимым.

Вдруг из мимо проезжающей буханки выскочил крайне разъяренный Сундук и, щёлкая пальцами, набросился на бандитов. Это был худенький интеллигент в рубашке в клеточку, очки в металлической оправе, белый бобрик стоял дыбом, голубые глаза пылали адским огнем. Сундук один раз прыгал, и целый отряд гопников валился на мостовую, вставал в позу кобрэ и делал мертвые петли. «Сякккк-к-к...К», – свистела его авоська. Скоро он совершенно измотал нетрезвых гопников, они сдались и предложили выпить мировую...

В ознаменовании нашей победы – мы решили, что это, несомненно, была она – всю ночь на веранде детского сада закусывали речными мидиями и раками. На столе дымилась голова сома, мы пели оды нашему избавителю.

Я думаю, Сундук был единственный порядочный и нормальный человек в нашей компании, несчастный «Крепкий орешек».

В Саратов мы ездить перестали. Мы гуляли по холмам, спускались в овраги; я бродил в поиске маслят в сосновых посадках. Или шли на речку, строили песчаные фонтаны, ползали в дюнах или нежились в тёплой волжской воде.

По Волге плыли баржи, доверху гружёные бурями медведями, в воздухе парили изумрудные драконы, в траве шуршали деловые гномы.

Ходили в гости к местному самородку, бывшему пастуху, а теперь художнику Контрабасову. Там пили самогон и разглядывали тысячи его примитивных полотен. Живопись была детская, с уклоном в деревенскую порно-романтику. Но после того как я перепутал облупленную ржавчиной печку с его картиной, к Контрабасову ходить перестали. Мастер на нас обиделся.

К концу недели запахло порохом.

Теплой, пропахшей жасмином ночью пели цикады. Я, Снорк, Синус, Фира и Солнце пили под вишнями, закусывая клубникой. Дом ходил ходуном, из окон вылетали чайники, утюги, кувшины, падала мебель, зеркала и керамические куклы. Там внутри схлестнулись сын адмирала и директор дворца керамики.

Утром мы со Снорк поймали фуру и укатали в Москву, прихватив с собой огромный мешок зелёнки. А в сторону Крыма другая фура унесла Манчо, Синуса, Фиру-директора и Солнце. Фира и Солнце к Сундуку так и не вернулись, осели в Москве. Сначала они жили у нас на Чистом, а потом унесло их в ойкумену Московской бездны.

Печи в подвале детского сада мы ни разу не включили...



III. Снорк – примечания.

1. На плоту.

Чёрная комната – В МАРХИ была Чёрная комната. В 80-е годы это было местом тусовки архитекторов-маргиналов. Там были сводчатые стены и всегда непроницаемая темень. В этой полуподвальной комнате под мрачными сводами студенты пили водку, пыхали. Там устраивали яростные дискотеки и выступали музыканты, рождённые в аудиториях института. Чёрная комната состояла из нескольких помещений. Большое, доступное всем и несколько подсобок, закрытых почти всегда и почти для всех. Подсобки были заставлены шкафами и засланы листами фанеры. Если отодвинуть один из древних шкафов и приподнять фанеру, обнаруживался деревянный люк, ведущий в подземелье.

Колесо сансары – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой.

Also diese Süchtigen und Sie kommt nur in der Schule, Sie lassen ohne Schuhe, das Pferd ihm unter die anhhе... – Так что эти наркоманы и она только приходит в школу, они оставляют без обуви, лошадь ему под горку...

Аппиева дорога (античное) – самая значимая из общественных дорог Рима.

Last drink before a guest leaves the ship – Последний напиток перед тем, как гость покинет корабль.

Боролись за живучесть – действия, направленные на подавление и ликвидацию пожара или другой катастрофы на корабле.

АЗ – аварийная защита реактора.

Как патриции в Термах (античное) – древнеримская аристократия в бане.

Трёхглавый Цербер (античное) – пёс, охраняющий дорогу в ад.

Зелёные (сразу из Устюга в Саратов).

Абсолютный нуль – (минус 273 градуса по Цельсию) – предел отрицательной температуры.

Баразо – аутентичная распивочная в Будапеште.

IV. ИСТОКИ

Институт имени Менделеева. Мои сокурсники – Марат-афганец, Лаврентий Ец с юга, Эдик Дьяков с севера и столичные девчонки. Ужасный конец Лаврентия.

Я подумал: «Откуда вообще взялся этот Чистый переулочек?». И тут развернулась цепочка событий, итогом которых стала моя швартовка в Чистом.

После подводной лодки я торжественно восстановился в МХТИ им. Менделеева и стал студентом. Жить мне было негде, правда, можно было ездить в город-спутник к родителям, но что-то мешало. «Дом ученых» – с искусственным укладом и специфической кастой браминов* казался утопией. Сказочный мир советской науки был отдан новыми хозяевами страны на полное разграбленное, он был растоптан, и поэтому я предпочитал жить на лавочке в столичном парке.

Студентов я встречал и провожал командой: «По местам стоять, к погружению». Сокурсники, только что закончившие школу, смотрели на меня как на опасного идиота. Они покорно готовились к погружению – задраивали люки, продували кингстоны, отваливали горизонтальные рули и осматривались в отсеках. Они разговаривали вблизи меня шёпотом, потому что я скомандовал: «Исполнить режим „Тишина“»!

Через некоторое время из безликого стада проявилась моя команда подводной лодки. Люди в поиске чуда – Маратка-афганец, Лаврентий Ец с юга, Эдик Дьяков с севера и девчонки в поиске. Еще к нам были близки пять кубинцев и два непальца – Джабиндра и Набук Джемаль.

У кубинцев имен не было – просто кубинец №1, №2, №3, №4, №5.

Кубинцы вели себя как шизонутые революционеры. Как они попали в Россию – непонятно, наверно, их поменяли на сахар. Обычно они сидели в общежитии и трескали водку, закусывая сушками. Разговаривали они только о сексе. Как надо правильно стать мужчиной. Сначала в детском саду они трахали кур, потом в школе свиней и ишаков, и только потом их подпускали к людям, после сдачи нормы ГТО. Ребята были незлобивые, а рассказы интересные и поучительные: жаркие как плазма мулатки, пропитанные потом кислотных пляжей и оргиями звёздных ночей. Мы водили их на затон купаться в проруби, после чего они обязательно болели. В те редкие дни, когда они приходили в институт, преподаватели вешались. Гости с Острова Свободы вели себя как партизаны в застенках гестапо. Их всех выгнали из института после первого курса.

Непальцы были другие. Они были умные, мудрые и счастливые. Учились очень прилежно и хотели вытаскивать из болта безграмотности свою страну, но от водки тоже не отказывались. Вообще я больше дружил с взрослыми иностранцами, ибо они были все моего призыва*...

Я думаю, мало интересного в том, что мы всё время хлебали портвейн, лазили в окна общежития и просто шлялись ночи напролет по Москве. Другое дело люди. Они были во



многим замечательные, их всех собрала вместе Менделеевка. Про них хочется вспомнить, зафиксировать их на бумаге.

Итак, я, конечно, сразу сдружился с Мараткой. Он не носил бакенбардов, не курил сигару и не был никаким художником – просто излучал свет, из него тоннами пёр позитив. Маратка был розовый, аккуратненький, свежестриженный, с натёртыми бритвой щеками. Он поливал

себя одеколоном и носил лаковые штиблеты. В Афгане он подвига не совершил, просто мочил невидимых басмачей из огромной пушки, пока железная бабка не отдала ему ногу. При всей своей сладкой красоте он принимал участие во всех наших экспериментах с реальностью. Легко путешествовал во всех мирах – людей-ангелов, людей-эгоистов и в промежуточных мирах духов умерших людей на распутье между добром и злом.

Он падал из окон общежития, был выгнан вместе со мной с картошки за симпатии к местным гопникам, которые побили нашего декана из-за женщины. В общем, он был полной копией толстяка из фильма «Большой Лебовски». Кстати, Маратка тоже был не худенький.

Он единственный был москвичом, жил не в общежитии, а в квартире и имел взаврадашнюю жену. Это нас очень согревало во время голода, холода и чумы.

У него была очень большая, необъятная и добрейшая жена Алёнушка. Мы её все боготворили. Наша благодетельница, она работала бухгалтером у комсомола, была комбинатом поварского искусства, производила на свет груды еды и была нам как мать. Часто мы плакали на её необъятной груди. Все её многочисленные родственники участвовали в судьбе бедных студентов.

В общем, Маратка и Алёнушка нас очень устраивали. Потом Маратка начал сползать в пропасть. Бросил Алёнушку и сошелся с вульгарной продавщицей ларька...

Самым интересным в нашей компании был, безусловно, Лаврентий Ец. Это был толстый человек из пригорода Сочи, несуразный, нелепый мужчина с головой яйцом и торчащими наружу большими зубами, с глазами навыкат и душой Анны Карениной. Был он тоже нашего с Мараткой возраста. Он ходил всё время в суровом свитере до колен, в коричневом берете и тяжёлых строительных башмаках. Лаврентий или смеялся до слез, или впадал в состояние смертельной депрессии. Он, в отличие от основного гумуса, был полиглотом и провинциальным интеллектуалом. Мы с ним часами ломали копыя, пытались вывести формулы запоздавшего в СССР модного тогда экзистенциализма* – препарировали Кафку и Джойса на ящиках из-под жидкого азота во дворе института. Нас примерял и выравнивал спёртый на кафедре пропиловый спирт. Вообще, мы с Лаврентием любили дегустировать во время жарких дискуссий разные спирты, часто не этиловые: например, бензолы, пентаэритрит или ксилиты*. На железных баллонах из-под водорода, в дыму азотных испарений Эд орал: «Сократ – друг, но самый близкий друг – истина».

Сначала Лаврентия выгнали из общежития, постарался декан кафедры истории КПСС. Поэтому мы его жирное тело каждый вечер закидывали на балкон третьего этажа, через узлы колючей проволоки.

Жил Лаврентий в этом негостеприимном для романтиков огромном городе неприкаянно. Он страдал от интеллектуального одиночества. Тяжело ему мечталось на нелегальном положении в общежитии, среди ветреных недавних школьников. Учился он по профильным предметам отлично, но люто ненавидел самую главную дисциплину – «Историю Коммунистической партии Советского Союза», на этом и погорел. Как высокая личность, не принимающая компромиссов, он сделался врагом №1 заместителя ректора по политической работе. Они ненавидели друг друга так, как в Гражданскую Деникин ненавидел Ленина. В эти последние годы советской власти партийный шизофреник готовил Лаврентию 37-й год. Кончилось всё тем, что наш будущий Лобачевский десять раз сдавал историю КПСС и не сдал. И поехал в безвременную ссылку на Кавказ. Это был последний репрессированный по статье 58 в гробу СССР.

Через несколько лет я, Снорк, Цеппелин, брат его Ваня и Ким Го поехали на юг. Нас выгнали из бесплатного поезда в районе Лазаревской, и мы решили навестить Лаврентия. Его родители нас не пустили даже на порог и как-то странно мигали нам вслед глазами, полными слез.

Вечером на нас напали гопники. Представьте: четыре хиппи и девушка-панк в расположении вражеских частей «культурного» постсоветского пространства. Нас, конечно, пасли с самого поезда. Гопники были самого низкого ранга, а мы в трусах вышли из моря. Голыми на камнях вступать в битву с ними было неразумно – пришлось заплатить пограничный налог. Они сбегали и угостили нас за наши деньги.

Гопники нам рассказали, как окончил свой святой путь мой друг-философ Лаврентий Ед. Он свёл счёты с жизнью в сарае с кроликами, принял цикуту*.

Понятно, почему Лаврентий цеплялся за негостеприимную землю МХТИ им. Менделеева, его нежная душа не могла вернуться в мир чистогана, в мир ракшасов* солёного берега. Так большевистская пуля последнего вертухая настигла нашего Лаврентия. А ведь мы тоже были повинны в его кончине – проморгали, может быть, самую хрупкую душу...

Эдик Дьяков. Если афганец был типичным циклотимиком*, а Лаврентий уже перерос эту стадию, видимо еще в детстве, уже эволюционировал к маниакально-депрессивному психозу, то Эдик был представителем другого вида. Внешне он был иксотимиком*, но внутренне полным шизотимиком*. Он был единственный юный друг в нашей компании ветеранов. Это был высокий блондин с голубыми глазами, носом уточкой и душой Икара. Он учился только на «отлично» и «очень отлично», и был единственным, кто дотянул до

финиша. Он законно жил в общежитии, а мы – пьяные и азартные – паслись на его голове, мешая готовиться к коллоквиуму*. Независимо от нашего состояния, он всегда был счастлив нас видеть, регулярно вытаскивал нас из милиции, подкармливал из необъятных мешков снеди, прибывавших из-за Урала от волшебной бабушки, которую он боготворил и о которой бредил во снах. Он был ангел человеческий. Но мы ему быстро сломали крылья, научили его пить бензоловый спирт, а наши вульгарные бабы подстерегали красавчика по всем углам общежития.

Его я брал в суровые походы на Кавказ, в Азию. С ним мы нелегально переходили границу Эстонии, уже в буржуазное время. Эдик был надёжен как танк на краю пропасти и так же безнадёжен внутри бездны людского капкана.

Ещё рядом с нашей маргинальной группировкой паслось несколько странных девиц, отбившихся от общего курятника. Дебелая и очень высокая Таня.

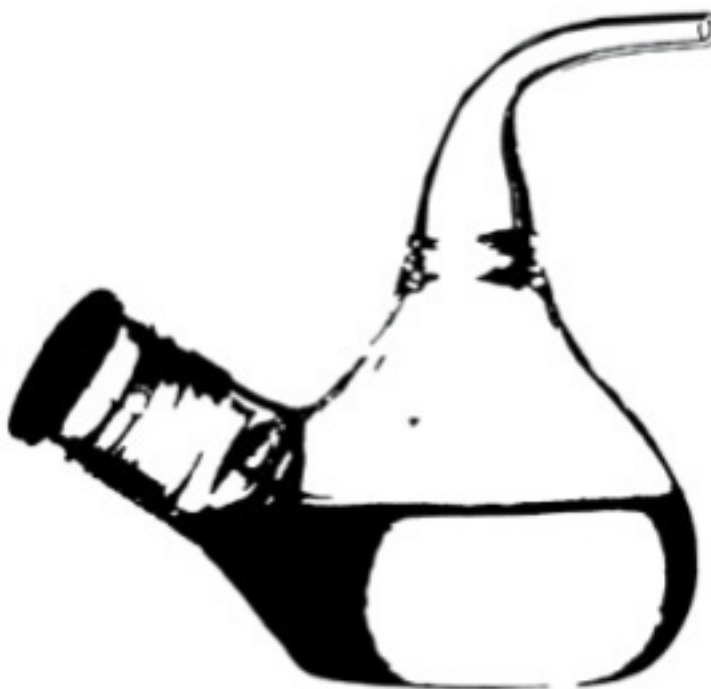
Ее можно назвать красоткой и даже блондинкой с голубыми глазами, но вела себя она довольно-таки странно. Иногда казалось, она плавает в вязком эфире. Зрачки глаз блуждали и не слушались, как у искусственной головы волшебника Изумрудного города*.

Отвечала фотомодель всегда невпопад. Мы часто специально ее троллили, задавая каверзные вопросы. Ответы всегда были настолько нелогично шизоидными, что любой оракул взял бы нашу Танюшу в свою свиту.

Была еще разбитная Ольга. Пухлая девица с губами, рыжей головой каре и изъеденными молью шерстяными юбками канареечного цвета. Эта была всё время на взрослом. Очень серьёзная, деловая, она не могла спокойно сидеть на горячих трубах в курилке. Курили мы в подвале на толстых, горячих трубах теплотрассы. Мы курили, а она бегала вокруг нас, иногда исчезая из вида. Ещё она бухала как подвальный мужик и страшно ругалась матом, приводя Танечку каждый раз в ужас. Была еще Оксана с огромной родинкой под носом и со сверхкачественными лодыжками. Оксана хихикала так интимно после каждой рюмки, что всем хотелось её оседлать.

У нашей Тани на Октябрьском поле мы часто харчевались, мылись, иногда спали вповалку. Родители нас жалели – нищее студенчество. Когда на лавочке в парке становилось совсем худо, я перебирался к Тане. Таня ночью пробиралась ко мне в папину мастерскую, где мы дружно скрипели антикварным диваном.

А утром суровый папа, интеллигент в очках, со значением сверлил меня взглядом за завтраком.



IV. Истоки – примечания.

Каста браминов – члены высшей ступени индуистского общества.

Моего призыва – военнослужащие срочной службы, призванные в армию в одно время.

Экзистенциализм – философия, акцентирующая своё внимание на уникальности бытия человека.

Бензоловый спирт ($C_6H_5CH_2OH$) – ароматический спирт.

Пентаэритрит ($C(CH_2OH)_4$) – четырёхатомный спирт с углеродным скелетом.

Ксилиты ($CH_2OH(CHOH)_3CH_2OH$) – многоатомный спирт.

Циклотимик – личность с многократной волнообразной сменой состояний возбуждения.

Иксотимик – спокойный, невпечатлительный человек.

Шизотимик – отличительная черта – замкнутость и дистанцированность, а также слабая выразительность эмоциональных проявлений. Переходная форма между здоровьем и болезнью.

Цикута – Вех ядовитый (*Cicuta virosa* L.), род многолетних водных и болотных трав, произрастающих главным образом в Северной Америке.

Ракшасы – демоны-людоеды в индуизме.

Коллоквиум – вид оценки знаний учащихся.

Искусственная голова волшебника Изумрудного города – из книги «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, где лже-волшебник выдавал голову, сделанную в технике папье-маше, за свое колдовство.

V. КРИВАЯ ДОРОГА

1. Самая непростая глава. С Суперфином и Мараткой на поезде в Прибалтику. Судьбоносная встреча в тамбуре. Машенька и Фрида – мои галлюцинации. Бесплатно, на попутных машинах. Казюкас*.

2. Делириум#. С Алеаторикой и Махаоном Ивановичем автостопом в Юрмалу. В гостях у хиппи на Гауе. Коммуналка дядюшки Дзинтарса в Риге. С Назаром Зепеленым у жовто-блакитных ментов в Жмеринке. Призрак Валеры Красного. С Лексусом Черкасовым – хичхайкинг по-молдавски. Обдолбанный камаз.

3. Свободный полёт. КСП. Несчастный водитель салатого москвича. Один в Черкеске. Наводнение в горах. Пешком, через кавказский хребет, к морю. Долина дьявола. Человек рухнул в пропасть. Метель в июле. Озеро Рица.

1. Самая непростая глава.

Бывают ли разные люди? Или все – и Будда, и дядя Феня в мокрых подштанниках, и тетя Олдя – все похожи? Одинаковые!? И отвечаешь... Да, все одинаковые! Но все же есть разные! Все и она – Машенька?!

На втором курсе мы с Мараткой решили навестить нашу карманную заграницу, то есть Прибалтику. С нами поехал Суперфин, мой школьный товарищ. Суперфин был мужественный красавец, с полоской мексиканских усов, затертыми висками и пиратской серьгой в ухе.

Подготовились солидно, как требовал этикет бывалых командировочных: взяли купе, жареных каплунов, разной снеди из ресторана и обойму крупнокалиберного пойла. Счастье начинается с поезда.

Распаковали курятину, порезали сёмгу, огурчики солёные, почистили яички, жажнули по первой и пошли в тамбур насладиться первой железнодорожной сигаретой. Тогда курить можно было и в самолете, и в автобусе, и в кинотеатре. Курить не то что было запрещено, приветствовалось...

В тамбуре было тесно, там без билетов ехала лихая компания – студенты московского архитектурного института. Они ехали на практику – рисовать древний Таллинн. Одеты студенты были не по-нашему, по новой продвинутой моде.

Были хиппи, панки, гопники, но эти никак не подходили под стандартную классификацию.

Маргиналов в Москве в те годы было много – это была запоздалая реакция на комедию кремлёвских покойников. Западные «дети цветов» уже примеряли на себя офисные костюмы, а в СССР только докатился одиннадцатый вал – «Любите, а не воюйте!».

Я застал на Гоголях великих донкихотов дырявого забрала – Красноштана, Чапаева со своей базуккой, Маклая, целую связку достойного пера материала – бойцов винтовой революции*. Салатовый дракон кружил вокруг пентаграммы четырёх фонарей в тумане психоделической новой реальности, скалился бивнями Берроуза, лил слюни Тимоти Лири под стон Фрэнка Заппы и мяуканье Моррисона*.

В тамбуре я и мои друзья моментально оказались на сцене передвижного театра. Это было новое поколение московских космонавтов, они перешагнули бессознательное и жили в новом, свободном от огрызков советской пропаганды мире.

Девчонки носили огромные суровые мужские ботинки, типа матросских гадов*. Чтобы гигантские калоши не сваливались, они надевали десять носков и ещё подпихивали газету. Основным прикидом был чёрный балахон и короткие детские брючки, плюс сотня фенечек на шее – сломанные часы, просроченные лезвия, дырявые пудреницы. Мальчишки тоже были одеты во всё не по росту, с неизменными шарфиками и кепочками. Когда они снимали кепку, на голове сразу ты-ннН... – выпрямлялась антенна жёсткого волоса.

Студенты подпрыгивали, пританцовывали, трепетали – пели: «Бросают Чайку и бегут в ночи из крокодилей кожи лодочки, ботинки лодочки берут с собой!». Длинный играл на гармошке, а маленький на игрушечной гитаре. Девочек было две. Или больше?

Та, что была повыше, из гаубицы своих солнечных глаз стрельнула мне в самое сердце и пробила в нём дыру навывлет...

Она светилась в темном тамбуре, двигалась на своих ходулях: чёрное каре, волосы отливали воронёным крылом. Глаза мерцали загадочным огнем, как светляки в молоке тумана. Видение плясало, пело и улыбалось мне, смертному. Было в ней что-то от солёных дюн Нормандии. От нее пёрло огнем и хромированным током энергий. То есть все мужики рядом с ней абсолютно сходили с ума. Конечно, совершенно свихнулся и я. Её звали Машенька...

Вторую чаровницу звали просто Антон. Из мальчишек выделялись карлик и каланча – Меркурий и Карбас. Один всё время делал ножками – Так-таК. Другой играл на гармошке, уморительно трясся головой. Был еще Василий Пятков и Жиглов. Василий был эталоном нового молодежного стиля. Он знал, в какую сторону диджею крутить пластинки. Он не ходил, а значительно плавал. Жиглов – тихий пьоро-гуррикап, был похож на взрослого цыпленка.

Уже в поезде Машенька взяла надо мной, диким, шефство.

Мы всем передвижным иллюзионом грузились в таллинские харчевни, смахнув искры вымышленных существ с узких средневековых улиц. Я тогда курил исключительно махорку, упакованную в серые бумажные пакетики с синими чернильными печатями. В буржуазных ресторанах Эстонии я учил новых друзей сворачивать из газеты козьи ножки. Они тренировались крутить вонючие кулёчки: трещали свинцовые шрифты передовицы, махорка мешалась с пролитым ликером «Вана Таллин». Кабак погружался в тяжёлый жёлтый угар. Суперфин враждал жернова психоделических манифестов. Афганец заряжал орудия на горе Курдук.

А я, пыхтя махоркой в «Виру Валге», рассказывал ещё свежие, ужасные и невероятные истории про мою подводную одиссею. Орал: «Гады, караси, гальюн, баночка, пиллерс»* и, самое главное, я всё время повторял – чифанить. То есть вкушать, наслаждение, кревоугодие. Два китайских иероглифа ЧИ-ФАН – меню ресторана. И скоро, с легкой руки Машеньки, я из морячка превратился в Чифана. Суперфин пестовал непослушные антенны усов и ловко поправлял поля ковбойской шляпы. Машенька присвоила ему имя Д'Артаньян. Маратка розовым пупсом вождеденно хихикал, сканируя женские округлости. Он стал Шиппером.

Но кроме основной линии повествования, связанной с интересными студентами, как всегда существовали несколько параллельных. Одну из них надо вспомнить. В дыму махорки, напротив, через проход сидела высокая девушка, одетая в серый брючный костюм, с лицом гадалки с картины Караваджо и с волосами «вертолёт». Она ругалась со своим ухажёром и пыталась толкнуть его в лоб кружкой. Партнёр был одет в костюм с искрой и носил лицо капитана Колхауна из «Всадника без головы». Мы таких не любили. А девушек мы любили всех, всех девушек галактики!

Когда они перестали пихаться кружками, между мной и девушкой произошел немой диалог – при помощи закатанных к потолку глаз, откровенных жестов и маленькой бури в пивной кружке. Она: «Вы славные...». Я: «Айда махорку курить...». Она: «Я живу в Рио де Жанейро!». Я: «Бросай своего конфедерата...». Она: «Угу, я уже бросила...».

Это был только эпизод немого кино. История забылась очень быстро...

Прошёл год!

Ночь, пурга, я иду по Калининскому проспекту домой в Чистый переулок. На улице пусто в этот неурочный час, только жёлтый глаз фонарей, кашляет у помойки холодный пёс и далеко в колючей мгле фигура приближается мне навстречу...

Это была она: завёрнутая в шубу белую, с пером фазана на мохнатой шапке – незнакомка из «Виру Валге». Звали ее Фрида. Жила она на 21-м этаже в одной из посохинских книжек*.

Поддавшись потустороннему, мы бросились друг к другу, как влюбленные, разделённые войной. Нечто тайное заползло в нас в эстонском ресторане, застряло в паутине бессознательного. Немое кино эволюционировало и стало звуковым...

Подобные вещи можно назвать только – чудо. Я оставил семью художников в Чистом и залип в мираже, у обретенной Мойры, богини судьбы, на двадцать первом этаже...

В Москве со студентами я ни фи́га не расстался, а наоборот, быстро бросил своё техническое образование и всё, что с ним было связано. Я превратился в сосуд, заполненный сладкой патокой творчества. Мне не нужно было ничего высокохудожественного производить. К тому моменту я уже слопал волшебную палитру и мог рождать миражи, и делал это блестяще.

В Москве я переселился в песочницу между двумя группировками – Машенька жила на Речном, остальные в Сокольниках, незыблем был только фонтан в МАРХИ, где я часто валялся нетрезвый.

Скоро выяснилось, что у Машеньки существует коллекция загадочных поклонников. Среди её женихов я числился под буквой W, вместе с Алеаторикой и Эмерсенем. Ей часто приходилось искать для меня ночлег и заботиться о моём желудке.

Алеаторика. Сначала появлялись очень тяжёлые роговые очки с пуленепробиваемыми стёклами. Тонкие черты лица закрывали чёрные кудрявые волосы. В чёрных шёлковых рубашках, весь совершенно чёрный, похожий на страшное насекомое, он играл везде и всегда на всех пианино и знал миллиарды мелодий, и был ветераном Машенькиного гарема. Он сползал по стеночке со стоном: «Машенька, Машенька, Машенька...».

Ещё Алеаторика был единственным человеком в нашей тусовке, у которого всегда была котлета денег. Он швырял хрусты направо и налево. Бриллиантовый дождь исправно проливался вблизи Машеньки. Алеаторика работал в очень странном месте – «Гид-Ров-Чер-Хут-Ймет...» – в подземельях Института стали и сплавов. Он сидел в чреве Москвы, обслуживал комбайн, который печатал котлеты денег.

Жил Алеаторика в Сокольниках, где всем гостям демонстрировал новенький мотоцикл «Ява» с коляской, непонятным образом перелетевший по воздуху в комнату на седьмой этаж типового блочного дома.

Эмерсен тоже жил в Сокольниках. Он был архивариусом старинных фотоаппаратов, носил пенсне и был похож на поручика белой армии на службе у басмачей.

Весь сокольнический двор принимал участие в моей судьбе. Морячок живёт в песочнице, где детские грибочки – непорядок! Так что, когда я у Карбаса отдыхал на раскладушке, вдруг звонила мама Василия Пятакова: «Мы садимся обедать!». Или: я у Меркурия дегустирую узо, звонит Кузьминишна: «Поспели кнедлики». Я залип надолго во дворе Сокольнического рая...

Мы гоняли толпой автостопом на запад и на восток, перемещались в пространстве, подчиняясь броуновскому* движению мечты. В пути рождались и рассыпались романы, разыгрывались трагедии и комедии.

Идеальный вариант для путешествия был «мальчик-девочка». В паре снимались проблемы, связанные с горячими самцами на трассе. Я путешествовал вместе с Машенькой и был от этого на вершине небес. Машенька спала у меня на коленках, а я млел.

Салатовые саванны мешались с рыжими осиновыми субтропиками, переходя в суровые, застеленные колючим инеем степи.

Хорошей приметой было обязательно помочиться на трассу, чтобы наверняка остановить шестиколесный «фурацилин»*. За рулем сидел весёлый усатый молдаванин или одессит, везущий репу из Тамбова в Гомель. Водила травил байки про сексапильных ангелов бензоколонок, что очень бодрило за рулем. Мы получали порцию экзотической семантики, вперемежку с винегретом разума. Мы с Машенькой ночевали в окопе ползучих оврагов, с дальнобойщиками у костра пили сладкую водку...

В городах встречались обычно у памятника Ленину или в центральном хипповском кафе. Тогда в каждом городе было главное тусовое кафе. В Москве – «Турист» на Мясницкой, в

Питере – «Сайгон», в Одессе – Армянская кофейня, а в Киеве – «Мичиган». Грязные, с трассы находили точку, где моментально раскуривались, надирались, получали кров и новых замечательных друзей. База оставалась галочкой на карте, и в следующий приезд мы уже знали, где мы будем жить.

В Киеве мы всегда останавливались у Сойфера, который учился в МАРХИ. Киевская еврейская мама обожала нас, обалдуев, однокурсников сына.

Сойфер носил чёрную негритянскую шевелюру и толстые губы папуаса, волосы торчали в разные стороны без всякого порядка. Он был добрейшим из ангелов.

Потом они уехали с мамой в Израиль. Наш Сойфер стал звездой бразильской мультипликации.

В Киев мы врезались бесшабашным юным тараном – в чашу молодой горилки, теряя по дороге драники, капустняк, сало и размазывая шпундру* по брусчатой мостовой. Обоз нашей архитектурной бригады ночью терялся в закоулках Андреевского спуска.

У меня редко когда получалось переночевать цивильно, в четырёх стенах. Обычно я во мраке ночи гонял чертей по Владимирской горке, продираясь через кусты, тревожил жирных пушистых кролей. Длинноухие секс-гиганты тогда невероятно расплодились на берегах Днепра.

Утром было так – проснулся у каменных сапог святого Владимира. Из соседней пещеры выплыли два пьяных уже в пять утра раکشаса и бросились на меня с кулаками. Разбойники сорвали у меня с груди двуглавого орла и исчезли, стуча копытами.

Мой друг Плеер штамповал двуглавых орлов и выдавал их всем в дорогу.

Не успел я почистить пёрышки, на меня набросились злющие жовто-блакитные менты, скрутили и поволокли в тюрьму. Выглядел я действительно не по уставу. В шевелюре застрял репейник, борода была по-утреннему клочна, у рубашки отлетел воротник, а шорты – одна сплошная дыра. Так я последний раз пострадал за внешний вид.

Надо сказать, что раньше в Москве меня забирали за внешний вид регулярно, длинные волосы уже были причиной ареста. Я к этому привык и проводил время в столичных обезьянниках со стоической радостью. Но грянули brutальные перемены, и меня уже больше года в столице не замечали. Милиционеры даже приветствовали меня на улице Горького, как старого товарища по застою. И вдруг опять: «Семён Семёныч...» – уже в новой, свободной, капиталистической Украине.

Из КПЗ я позвонил Сойферу. Скоро нарисовалась разъярённая толпа московских архитекторов. Возглавляла их Машенька, одетая в чёрную рясу, с авоськой сломанных часов на груди... Меня выпустили.

Ещё одна параллельная кривая...

Не всегда мы ездили стопом, иногда опускались до покупки билетов.

Если взгрустнулось, шли на вокзал – и к Сойферу на Крещатик.

Фен – московский фотограф, человек-репка, казалось, он всегда невинно удивлен. Стоял и хлопал большими ресницами, и казалось, вот-вот заплачет. Билетов в Киев не было. А нам было очень нужно.

Фен-то и нашёл в зале игральных автоматов очень страшных бандитов. Они были везде круглые: без шеи, с гармошкой на затылке, отполированные до блеска, упакованные в коззаменитель и треник.

Новые друзья заплатили за нас проводникам.

Потом Фен удачно продал им ящик портвейна, который мы взяли с собой на всякий случай – пополнил нашу мошну золотыми дукатами.

Позже мы весь этот портвейн вместе с бандитами выпили в тамбуре. После чего бандиты дали нам свои пушки пострелять в окно.

Затем я неведомым образом из плацкарта переместился в вагон-купе, где почему-то пил водку с матросом и с беременной женщиной. Причем из купе периодически выбегал ейный муж-качок, которого она со всей дури била по щекам.

Ночью меня разбудила злобная проводница, мы спали с матросом в обнимку на верхней полке в купе, а вокруг бегали разъяренные соседи морячка.

Спустя время я просыпаюсь в купе совершенно один, на белых простынях, цветочки в графине...

Поезд подозрительно долго стоит. Думаю: это может быть только Киев. Ищу ботинки. Их нет! Мои великолепные кроссовки «Сан Шайн» – на два размера меньше. Я их носил как волк из «Ну, погоди!». Они посередине лопнули и держались на ноге за счет резиновой подошвы.

Зато по центру купе красовались, мерцали в солнечной неге новенькие адидасы. Я их надеваю и падаю в Киев. Эти адидасы я потом носил пять лет, не снимая, сносу не было...

Вот такой Фен был хороший человек... Отвлеклись...

После Киева мы ехали во Львов. Мы с Машенькой катили на запад, на развилках дорог встречая обрывки нашей подвижной человеческой цепочки. У меня нашлась горилка из Жмеринки, у Василия – сало из Черновцов, у Фена черняшка – костерок, шпикачки. Степной чай кипятили в найденной на обочине консервной банке.

Во Львове я вырвал на трассе знак «Осторожно дети» и притащил его в общежитие. Однажды мы целый день просидели в кронах деревьев, изображая из себя грачей в парке «Погоулянка». В лесу «Жупан» заперли себя в пустующую клетку зоопарка.

Пока архитекторы снимали мерки – рисовали арки средневекового города, я с Алеаторикой примерял сапоги-скороходы в парке «Вознесение», рядом с руиной высокого замка. После того как замок разрушил Карл XII, ведьмы назначили лысую гору своей резиденцией. В засыпанном песком античном колодце мы откопали череп дельфина. Потом он долго пылился на кухне в Чистом переулке.

Мы добирались до дальних пределов. Пронеслись через Черновцы, кубарем – через самый красивый в мире университет и уткнулись в Ужгород. Дальше нас не пустили. Путь преградили суровые польские пограничники. У нас были планы нелегально перейти границу, но нас взяли на вскопанной полосе...

На границе сразу завелись друзья – волосатые маргиналы, закопчённые близкими кострами железного занавеса. Традиция диктовала пить нектар приграничного пива, контрабандой поставляемого в Ужгород из-за кордона.

Задача была не из лёгких. На границе пива было мало, и буквально весь народ хотел его пить! Поэтому в одно крошечное окошко лезли измученные жаждой граждане. Самое страшное – периодически заканчивались кружки. Тогда сражение затихало, бойцы хоронили покойников, а медсёстры лечили раненых.

Наши ужгородские друзья подходили к пивной битве стратегически. Битники гипнотизировали умирающую от жажды толпу историей подвига смирения плоти.

Река кружек потекла по цепочке из рук в руки на отполированную солнечными зайцами полянку, между кривобокими сараями и зарослями пыльной ветлы. Это был рекорд – 171 кружка...

Весной мы обязательно ехали в Вильнюс на Казюкас#, на ярмарку в честь рождения нового католического святого Казимира. Мы везли дурацкие фенечки, кривульки и горбульки, чтобы продать иностранным туристам. Выезжали толпой, иногда до пятидесяти человек.

Поезд вез в столицу Литвы безумных шизоидов. Проводницы страдали в передвижном балагане ужасно, потеряв привычную власть. Неистовый Манчо кружил в водовороте инерциальной системы отсчета*, пытаясь существовать во всех реальностях одновременно.

Его не пустили в вагон – это не мешало ему двигаться в пространстве в общем направлении, впереди состава. Он ехал в кабине тепловоза и, конечно, напоил и капитана, и его подручного юнгу. Пока они валялись на пайолах*, стучаясь о манометры, газовые рожки и горячие трубы, поезд вёл Манчо, наш отчаянный берсерк лесной опушки.

Пассажиры мирно спали, не догадываясь, какие коллизии происходят на капитанском мостике.

Манчо был самым беспокойным элементом в нашем относительно мирном курятнике. Он предпочитал ехать не внутри вагона, а на крыше, среди опасных рогов линии высокого напряжения.

Довольный, он сидел на морозе и лыбился внутри фейерверка искр, сыпавшихся с замерзших проводов. Возвращался Манчо грязный, обмороженный и счастливый.

Фен и Синус прятались от проводников под сиденьем, в отсеке для чемоданов. Лежат в тесном ящике – кайфуют: им водочку подносят, огурчик, сало – всё, чем богата заграничная ярмарка. Вдруг появляется проводница с глупым вопросом: «Предъявите билеты!».

Милиция гонит зайцев по вагонам. Я – впереди, сзади дышит в гриву Алеаторика. Из-за сады выскакивает начальник поезда, хватает Алеаторику и тащит его по вагону. Я кричу: «А я!? Я тоже нарушил».

Меня никто не замечает – мистика. Щёлкнул ключ в железной двери в корме, я бегу в нос, а там – тупик локомотива. Друзья роскошно закусывают, я меряю шагами средний проход до самой Москвы – один в холодной камере...

2. Делириум.

Рига, Вильнюс, Каунас, Таллин – понравилось, и мы зачастили автостопом в Прибалтику.

Архитекторы всё же занялись практикой на улицах Вильнюса, а я в составе боевого отряда рванул в Ригу.

Нас было трое. Мы были неплохо подготовлены к встрече с рыцарями Тевтонского ордена. Я был одет – в жаркую погоду – в серое обрезанное пальто с воротником в цыпочку на красную майку с портретом Нины Хаген на груди. Мой типаж был жизнерадостный, до идиотизма. Алеаторика, похожий на жука-дровосека – во фраке с белым галстуком, в тяжелых роговых очках, с гнездом на голове – очень нервный и злой. Махаон Иваныч – крепкий, со стрижкой, с лицом сладкого армянина, на шарнирах – всегда готовый устроить провокацию. Казалось, у него подведены глаза и губы, как у собак охотничьей породы. Чем-то он напоминал мне статую жреца из каирского музея.

Подъезжая к Риге, Иваныч пошутил в своем любимом стиле, выкинул в траву последнюю бутылку водки. Она радостно крякнула, найдя в осоке свой кирпич. Я пытался огреть Махаона дрыном по спине, гоняясь за ним в колючих зарослях верблюжьей колючки. В это время Алеаторика освежал трассу. Махаон и дальше разбивал метафизическую водку, уже в супрематистской, лишённой равновесия столичной вселенной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.